

**Р. ВИПТЕР**

**ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
ХРИСТИАНСТВА**



**РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ  
МОСКВА 1923 Г.**

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ“

при Ц. К. Всероссийского Союза работников просвещения.

**ПРАВЛЕНИЕ:** Москва, Леонтьевский, 4.

**РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:** Моховая, 24, „Работник Просвещения“.

**ЗАКР. ОПТОВЫЙ СКЛАД:** Арбат, 4, „Нультура“.

## ИЗДАНИЯ „РАБОТНИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ“.

### I. Общие вопросы просвещения.

Луначарский, Проблемы народного образования (печатается).		
Бакушинский, Художественное творчество и воспитание . ц.	— р.	25 к.
Корнилов и Рыбников, Детство и юность . . . . .	” — ”	50 ”
Джонсон, Игры и забавы . . . . .	” — ”	25 ”
Иорданский, Основы и практика социального воспитания.	” 1 ”	— ”
Лозовский, Французский народный учитель . . . . .	” — ”	25 ”
Монтессори, Самовоспитание и самообучение в нач. школе	” 1 ”	20 ”
Натали, Вопросы школьного естествознания. . . . .	” — ”	50 ”
Нечаев, Психологич. основы библиотечного дела . . . . .	” — ”	10 ”
Рождественский, Школа рабочих подростков . . . . .	” — ”	10 ”
Попова, Школа жизни . . . . .	” — ”	50 ”
Рыбников, Центральн. Педол. Институт . . . . .	” — ”	20 ”
Блонский, Педагогика . . . . .	” — ”	80 ”
Львов, Иллюстративные вечера . . . . .	” 1 ”	50 ”
Пинкевич, Педагогика (печатается).		
Зеленко, Внешкольная работа учителя (печатается).		
Блонский, Азбука труда. 2-ое изд. . . . .	” — ”	35 ”
Рыбников, Детские игрушки (печатается).		

### II. Дошкольное воспитание.

Кричевская, Практич. руководство по воспитанию детей.	” — ”	30 ”
Корнилов, Рыбников и др. Современный ребенок . . . . .	” — ”	50 ”

### III. Методическая литература.

Жаворонков, Обществоведение и история в школе . . . . .	” — ”	50 ”
Львов, Основы и методы просветительной работы . . . . .	” — ”	— ”
Ланков, Устный счет . . . . .	” — ”	25 ”
Лай, Первый год обучения арифметике . . . . .	” — ”	30 ”
Шмейль, Методика естествознания . . . . .	” — ”	40 ”
Афанасьев, Методика родного языка в трудовой школе. 2-ое изд. (печатается).		
Жаворонков, От мотыги к трактору 2-ое изд. . . . .	” — ”	50 ”
Корнилов, Рыбников, Простейшие психологические опыты в школе.	” — ”	50 ”
Монтессори, Руководство к моему методу (печатается).		

См. 3-ю стр. обложки.

Р. Ю. ВИППЕР

# ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ“  
МОСКВА — 1923

Главлит № 9379. Москва.

Тираж 5.000.

3-я тип. М.С.Н.Х. „Мосполиграф“, Мал. Грузинская, Охотничий пер., д. 5/7.



## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Вопросы религиозной истории по существу не отличаются ничем от других исторических вопросов. В образовании верований мы встречаемся с такими же логическими усилиями и такими же порывами воображения, как во всякой другой области чувственной и умственной жизни человечества. В устроении религиозных обществ, церквей и сект мы находим то же соединение возвышенного и материалистического, то же сплетение отвлеченных начал и практических интересов, как во всякой другой сфере человеческого быта. Необходимо, однако, признать: исследование явлений религиозной жизни принадлежит к числу сложнейших проблем исторической науки. Развитие религии зависит от политических и общественных катастроф, находится в связи с глубокими переменами в семейном и хозяйственном строе, направляется обменом культурных и промышленных ценностей. Религиозный мир не совпадает с национальными и классовыми границами, пути движения религиозных идей своеобразны, их встречи и скрещения весьма запутаны.

В данном изложении фактов возникновения христианства автору пришлось сделать выбор из массы интересного и важного материала, между прочим опустить характеристику иудейской церкви и ее реформационных направлений, оставить в стороне роль персидских и индусских влияний в образовании христианских верований и т. д. Автору хотелось привлечь внимание читателей к самому оригинальному явлению раннего христианства, именно возникновению новозаветной литературы, особенно евангелий, а в то же время установить и более правильный, как ему казалось, взгляд на историческое значение этой литературы.

В первом очерке задача автора была критическая, отчасти отрицательная. Надо было отметить крайнюю скудость исторических свидетельств о раннем христианстве. Надо было показать несостоятельность попыток построить «жизнь Иисуса» на данных евангелий и вообще неправильность обращения с книгами Нового завета, как с документами подлинной жизни основателей христианства. Лишь полный отказ от этих ошибочных приемов научного исследования дает возможность оценить евангелия, как свидетельства настроения

более позднего времени, как своеобразные произведения литературного творчества эпохи вновь возникшего, вернее, возродившегося церковного общества.

Второй очерк должен познакомиться с фактами исторической катастрофы, давшей толчок этому новому литературному творчеству. Здесь имелось в виду выяснить вообще историческую обстановку, в которой возникла христианская церковь, ее корни в греческом и иудейском религиозном быту, затем строй римского самодержавия и его отражение в жизни общества, наконец, значение для религиозного сознания иудейской революции 66—73 гг. и ее повторения в 132—7 гг.

В третьем очерке намечены главные моменты возникновения новозаветной литературы: каким образом в среде провинциальных греко-иудейских общин, потрясенных катастрофой иерусалимской церкви, под влиянием эмиграции, начинают собирать рассказы о национальном горе, как в результате перемены настроений появляются новые исследования о совершившемся и новые толкования предстоящих событий.

В четвертом очерке сделана попытка изобразить социальный облик ранне-христианских кружков и общин, обширный союз которых представляет наследие иудейской церкви. Попытка эта основана исключительно на анализе новозаветных книг, на сопоставлении имеющихся в них выражений о богатстве и бедности, о благотворительности и о правах капитала, о содержании и тенденции христианской коммуны и т. п.

Для того, чтобы осветить скудость исторических источников эпохи возникновения христианства, а также показать образчики приемов составителей христианской традиции, автор считал важным дать в приложении следующие отрывки:

1) Из «Церковной истории» Евсевия Кесарийского свидетельство Папия Гиерапольского о возникновении евангелий — для того, чтобы показать, как мало знали о начале новозаветной литературы в эпоху IV века, когда впервые ученые христиане занялись исследованием своего прошлого.

2) Из «Аннал» Тацита известие о казни христиан в Риме, с позднейшей вставкой об Иисусе Христе.

3) Из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия вставку об Иисусе Христе в контексте главы о бедствиях иудеев в эпоху императора Тиберия.

Место из Тацита приведено в переводе В. П. Модестова, переводы мест из Евсевия и Иосифа Флавия принадлежат автору.

---

## „Жизнь Иисуса“.

Возникновение христианства представляет один из самых темных и неясных вопросов истории. На первый взгляд такое положение вещей кажется изумительным. Нас спросят: как, неужели в момент появления христианства не было образованных наблюдателей, мастеров литературного искусства, публицистов, ораторов, ученых, которые с разных сторон могли бы осветить события и настроения?—Конечно, все это было: первый и второй века нашей эры составляют эпоху блестящей и широкой культуры в пределах средиземноморского мира; люди того времени много и усердно читали, страны, входившие в состав римской империи и прилегавшие к ним, находились в оживленном между собою обмене. По беда в том, что обширная литература эпохи, которую принято называть концом язычества и началом христианства, подверглась ряду уничтожающих катастроф.

Среди последних видное место занимает пожар 391 г., в котором спoreла значительная часть библиотеки, принадлежавшей знаменитому Музею египетской Александрии. Этот пожар не был простой случайностью: он составлял выполнение адского плана тогдашних врагов и разрушителей культуры, выступавших в монашеской рясе и предводимых одним из крупнейших иерархов церкви, александрийским епископом Феофилом. В наших учебниках не упоминается о христианском погроме старинного университета, но зато с осуждением говорится, что арабы, спустя 21½ века, топили бани александрийскими книгами и рукописями. Следует заметить, что арабы были в это время невежественными дикарями; когда они стали немного приближаться к быту образцовых народов, они спохватились спасти культурное наследство древности. Иначе были настроены виновники более раннего пожара, которые представляли злостное направление общественных кругов, неудержимо опускавшихся в бездну варварства и принесших с собою сознательную вражду к куль-

туре. Потерявши вкус ко всему, что красит жизнь, что составляет радость изобретения, творчества, изящной и эстетической работы, они крушили под именем развратного язычества создания прежних поколений.

В своей жажде разрушения христианские циники и нигилисты соприкасались с ревностью ученых богословов и нравителей церкви, поскольку иерархи и книжники пытались строгой цензурой очистить круг чтения своей паствы от всего, что могло свратить опекаемых с пути истины. Холодное, рассудочное инквизиторство образованных людей часто приводило к таким же результатам и выражалось в тех же формах, что и слепая страсть поджигателей. Надо иметь в виду, что понятие «языческих заблуждений», понятие вообще мыслей и учений, «опасных для христиан», принималось в очень широком и произвольном смысле. Часто то, что ценили в качестве религиозной святыни в одной провинции, могло оказаться ересью в другой. Некоторые произведения, вызывавшие восторг в одну эпоху, представлялись последующим поколениям верхом заблуждения. В таких случаях цензура и инквизиция при первой возможности совершали свое разрушительное дело.

Напр., благочестивый антиохийский епископ Феодорит (умерший в 457 году) в силу побуждений, нам теперь совершенно непонятных, ополчился против единого евангелия, или евангельской «Гармонии», составленной сирийцем Татианом, которая пользовалась в течение почти 2 веков именно на Востоке большою популярностью. Ревностный иерарх не ограничился предписанием по епархии восстановить 4 отдельные евангелия; мало того—он распорядился сжечь несколько сот экземпляров Татиановой «Гармонии».

На примере Феодорита видно, как близко к делу истребителей подходила работа ученых редакторов-составителей церковного канона. Движимые пуританским усердием, они в сущности гораздо больше разрушали, чем сохраняли, и отсюда объясняется ничтожное сравнительно количество сочинений, которые остались в виде документов раннего христианства. Да и среди самого канона иные произведения уцелели каким-то чудом. Напр., не раз гонение поднималось против откровения Иоаннова; уже поколения, жившие 100 лет спустя после составления книги, остро чувствовали иудейский характер ее; ученые противники находили, что она лишена божественного вдохновения, не может иметь автором апостола и даже приписывали ее дерзкой фальсификации одного из еретиков. Другое произведение, носившее то же имя апостола Иоанна, четвертое евангелие, также вызывало протест:

его учение о Логосе, воплощенном Разуме, отклоняли, в конце II века, так наз. алоги, отрицатели рассудочной теории, не желавшие и слышать о Логосе в связи с именем Иисуса Христа.

Своеобразную роль играл в редактировании новозаветных книг Маркион, один из самых выдающихся богословов II века. Хотя впоследствии церковь признала Маркиона еретиком, однако в сущности ему она обязана обработкой посланий ап. Павла. Но у Маркиона, помимо творческого дарования, была еще фанатическая исключительность сектанта: он хотел устранить из священных текстов все, что напоминало иудейский Ветхий завет, все, что ослабляло новое учение о Благодати. Послания ап. Павла удовлетворяли Маркиона в этом смысле или, по крайней мере, казались ему безукоризненными лишь после произведенной им редакции. Мы не знаем, какой вид имели послания раньше, до Маркиона. Но случайно нам известно, в чем состояла поправка, внесенная Маркионом в евангелие от Луки, которое он высоко ценил в качестве произведения ученика ап. Павла: Маркион выкинул из него ссылки на Ветхий завет, а также целиком устранил две первые главы, где заключается рассказ о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, слишком умалявший в его глазах божественное достоинство спасителя.

И Откровение, и евангелие от Иоанна, и начало евангелия от Луки благополучно удержались в каноне и дожили до нашего времени. Но колебания в их судьбе показывают, какие бури свирепствовали в пределах христианского богословия. Нам известны по отрывкам и по названиям несколько книг—евангелие Петра, Фомы, евангелие евреев и др.,—которые пострадали от ревности оберегателей чистоты канона и погибли для потомства. Вероятно, число таких произведений, подвергнутых опале, было весьма велико.

Оба явления, столь близкие между собою по результатам—уничтожение книг врагами культуры и очищение литературы ревнителями возвышенного учения, — создали для поколений последующих зрелище весьма своеобразное. Вокруг святых канонических книг образовалась как бы пустыня; они действительно могли казаться сошедшими с небес, возникшими вне пространства и времени. Точно какая-то предусмотрительная рука уничтожила всех предшественников, современников и соперников маленького состава воспринятых церковью книг, и уничтожила для того, чтобы не видно было, откуда заимствованы различные доли христианского учения и устройства.

Уже первые ученые историки, занявшиеся исследованием вопроса о происхождении христианства, испытали все затруднения, какие неизбежно должны были получиться вследствие многократных разгромов литературы и гибели важнейших источников. Нам теперь, напр., ясно видно, в каком тяжелом, иногда жалком положении находится Евсевий Кесарийский, автор большой церковной истории, первой из сочинений такого рода.

Евсевий (умерший в 340 г.), современник Константина Великого, как настоящий историк с широким взглядом, хочет вдвинуть факты возникновения христианства в рамки всемирно-исторических отношений. Для первого века христианской эры, для времени от Августа до Домициана, у него хороший руководитель, дающий яркие картины, интересные характеристики, именно Иосиф Флавий, историк первой иудейской революции, начавшейся при Нероне и подавленной при Веспасиане (66—73 гг. после Р. X.). Обладая твердой канвой в виде рассказа Иосифа о римской империи и иудейских партиях бурной эпохи, предшествующей великому восстанию, Евсевий приспособляет к ней данные христианской традиции, и благодаря этому получается какое-то подобие достоверности и фактичности в самой истории христианства. Но как только на событиях конца I в. по Р. X. прекратился рассказ Иосифа Флавия, Евсевий остается беспомощным. О втором иудейском восстании, происшедшем при Адриане (132—7 гг.), он почти ничего не знает. Историк христианства не может поэтому объяснить нам, как вторая революция, представляющая последний взрыв и окончательную гибель иудейского мессианизма, отразилась на судьбе и настроениях христианских общин. Вообще участь христианства в течение второго столетия нашей эры, самого важного и решительного века в ее формации, совсем темна для автора церковной истории. Он вынужден проправляться легендами о мучениках неизвестной эпохи и даже вводить в рассказ представителей неизвестных убеждений, лишь позднее зачисленных в ряды христианских подвижников.

Есть, однако, область, в которой его смущение достигает величайшей степени, это именно—вопрос об евангелиях, признанных церковью за документы земной жизни Спасителя. Что такое в действительности евангелия, когда они возникли, в каких отношениях к описываемым событиям и изображаемым людям находились составители евангельских повестей? Между прочим у христианского писателя середины II века, Юстина Мученика сохранилось замечание, что евангелиями называются «воспоминания» апостолов, желавших передать

потомству наставления спасителя, завещанные им обряды и предметы учения. Повидимому, это показывает, что в эпоху, когда писал Юстин, евангелия еще не существовали в той форме, в какой мы их знаем, или что под евангелиями разумелось нечто иное, чем впоследствии. Как бы то ни было, но Евсевия такое определение евангелий не удовлетворяет. «Апостолы» не представляются ему достаточно реальными личностями, во всяком случае они не могли, в его глазах, быть авторами литературных произведений. Как исследователь, обладающий историческим чутьем, он сознает, что евангелия составлены на известном расстоянии от изображаемых событий, составлены не очевидцами, а только собирателями традиций. Какова же в таком случае степень достоверности их рассказа и насколько правильно передают они учение Христа? По этому поводу и обнаруживается крайняя растерянность ученых христианских кругов, к которым принадлежал Евсевий.

Для установления подлинности и достоверности евангелий ему приходится ссылаться на писателя II века Папия, епископа Гирапельского, автора «Толкований к словам Господним»<sup>1)</sup>. Другого свидетеля, другой авторитет Евсевий подыскать не может; но и с Папием выходит беда. Сочинений самого Папия Евсевий не видел, знает их только по выдержкам и ссылкам. Евсевий ставит Папия очень невысоко, признает его ум весьма ограниченным и ценит его только потому, что Папий вращался в среде школы, созданной ближайшими спутниками спасителя, и сохранил подлинные выражения представителей старого поколения относительно происхождения устной и письменной традиции раннего христианства. Вдобавок ко всему Папий отдавал предпочтение устным преданиям, живому слову, преимущественно передаваемому в школе, и весьма невнимательно относился к книге.

После всех этих оговорок, и без того способных привести читателей в отчаяние, Евсевий сообщает малоутешительное известие Папия о происхождении евангелия от Марка. Оказывается, Папию говорил Иоанн пресвитер (которого Евсевий предлагает не смешивать с Иоанном апостолом) следующее: Марк был секретарем ап. Петра (или переводчиком—в предположении, что апостол изъяснялся на палестинском наречии, а Марк переводил его слова по-гречески); то, что он запомнил, он записал тщательно, но не в том порядке, как это было сказано и совершено Христом. Сам Марк не слушал господина и не следовал за ним; лишь позднее (по окончании земной жизни Христа) примкнул он к Петру; апостол же в свою очередь,

<sup>1)</sup> См. Приложение № 1.

излагал учение по частям и при случае, вовсе не стараясь привести слова господни в систему.

Вот и все, что знали в эпоху Евсевия о возникновении евангелий. Между прочим, нам крайне важно отметить, что уже тогда, в начале IV века, в ученых кругах определенно выражалось критическое отношение к произведениям раннего христианства. Самые старейшие из них приписывались второму поколению, которое, по общему признанию, не могло видеть основателя общины; изложение евангелий принималось с оговоркой, что в нем никаким образом не должно искать системы и порядка учения, как оно было преподаано самим Христом. Интересно еще видеть, что имена первоучителей христианства вызывали у тех же ученых исследователей большие сомнения. Евсевий, напр., никак не может допустить, чтобы четвертое евангелие и Апокалипсис были написаны одним и тем же лицом. С большою радостью хватается он за сведения Пания о двух Иоаннах, апостоле и пресвитере, и успокаивается на заключении, что Апокалипсис, произведение, которое ему, видимо, не нравится, составлен не апостолом, не личным спутником и учеником спасителя, а человеком второго поколения, способным отклониться от чистых первоначальных традиций.

К сожалению, дух критики и исследования, черты которого обнаруживает Евсевий, был заглушен догматическими заботами, очень сильными у того же самого поколения, и вместо того, чтобы помочь нам в выяснении вопросов, относящихся к началу христианства, они еще более затемнили дело. Евсевий был современником Никейского собора 325 года, выработавшего неподвижный символ веры. Для того, чтобы привести литературу христианства в соответствие с требованиями закрепленного правоверия, ученые редакторы предприняли исправление, обработку и дополнение текста, занялись интерполяциями (вставками) и подчистками. В евангелии от Матфея, гл. XXVIII, 19, мы читаем следующие слова, вложенные в уста Иисуса при его появлении среди учеников на галилейской горе: «Идите учить все народы и крестите их именем Отца и Сына и св. Духа». Не может быть никакого сомнения, что в первоначальном тексте евангелия этих слов не было: учение о троице чуждо евангелистам, св. дух, правда, упоминается в евангелии, но в совершенно ином смысле—как сила, исходящая от всевышнего. Перед нами—интерпелляция, сделанная богословом, усердно вводившим положения символа веры в старинные документы христианства.

Ревнительство интерполяторов заходило еще гораздо дальше. Они пытались дополнять и поправлять нехристианских

писателей, языческих и иудейских для того, чтобы сделать их свидетелями истин, принятых среди христиан. Так произошли две знаменитые вставки, которые до последнего времени доставляли много хлопот исследователям истории христианства, одна у Тацита, другая у Иосифа Флавия<sup>1)</sup>.

Тацит рассказывает о пожаре города Рима в 64 году по Р. Х., о том, что народ сильно волновался, обвинял правительство и что Нерон, желая отклонить подозрение, свалил вину на иудейскую секту христиан, без того вызывавшую ненависть в массе, а затем устроил в своих садах ужасную иллюминацию живых горящих тел. К слову «христиане» в тексте Тацита прибавлено объяснение: «название происходит от имени Иисуса Христа, казненного в Иудее при прокураторе Понтии Пилате». Здесь странно прежде всего то, что Тациту приходится упоминать Понтия Пилата, так сказать, задним числом, рассказывая о 64 г., между тем как о самом управлении Пилата в 27—37 гг. в соответствующем отделе «Летописей» у него нет ни слова, да и вообще Понтий Пилат Тациту, если не считать спорного места, совершенно неизвестен. Зачем это имя тут понадобилось? Почему оказалась столь странная забота о восстановлении правильной хронологии у писателя, раньше не обнаруживавшего интереса к событиям в Палестине? Все становится понятно, если две строчки, связывающие Иисуса Христа с Понтием Пилатом, мы примем за интерполяцию богослова, который искал случая закрепить в тексте Тацита одно из положений Никейского символа веры, настаивающего на том, что Иисус Христос распят на кресте при Понтии Пилате.

Вставка об Иисусе Христе у Иосифа Флавия более обстоятельна, но вызывает еще меньше сомнений в смысле своей присочиненности. Иосиф нигде, кроме данного случая, не говорит не только о Христе, но и о христианах. Здесь ему приписаны выражения о Христе, как сверхчеловеке, воскресавшем после смерти, что резко расходится с мировоззрением Иосифа, которое можно назвать деизмом, не допускающим на земле полубогов или святых сверхъестественной силы. К тому же вставка об Иисусе Христе сделана очень некстати: она и внешним образом, и по своему тону разрывает рассказ о бедствиях, испытанных иудеями в конце правления Тиберия. В заключение надо сказать, что интерполятор руководился той же тенденцией, которая направляла редактора Тацитового текста: он и поместил так неловко известие о свете мира среди бытовых подробностей и интриг эпохи римского

<sup>1)</sup> См. Приложения 2 и 3.

самодержавия только для того, чтобы не пропустить случая упомянуть об Иисусе Христе в связи с управлением Понтия Пилата.

Для будущих поколений исследование начала христианства приняло характер почти неодолимых затруднений. Ранняя церковь оставила нам готовый канон, состав книг, обрезанный по всем сторонам, отделенный от окружающего мира, что-то в роде ослепительного света, внезапно открывающегося среди полной тьмы. Никто не мог потом указать ни авторов, ни места, ни времени происхождения отдельных книг. Никто не знал мотивов, по которым одни книги были приняты, другие отвергнуты учеными ранней церкви. Поэтому для взаимоотношений между книгами Нового завета установились условные понятия, которые рассматривались как церковные истины, но которые никто не мог проверить. К числу таких условных понятий принадлежит одно очень важное для христианской традиции отождествление: целый ряд посланий, самые крупные по размерам и наиболее важные для учения, для обрядности и для церковного устройства, носящие имя апостола Павла, считаются произведениями того проповедника именем Павла, который является главным действующим лицом во второй части «Деяний апостольских».

Необходимо дать себе отчет в том, что это отождествление основано на крайне шатких данных. В посланиях преобладает чрезвычайно ученый отвлеченно-богословский характер изложения; трудно представить себе что-нибудь более непохожее на проповедь среди народа, в которой в свою очередь так силен был ап. Павел, изображенный в Деяниях в качестве неутомимого странствующего и учителя толпы. Что здесь соединили вместе двух разных людей, показывает странная, необъяснимая игра именами. Ведь апостол Деяний, который из преследователя Христа, силой чудесного видения, обратился в его поклонника, собственно назывался Савлом или Саулом. Каким образом он сделался Павлом?—Деяния, XIII, 7—9, передают, что, привлеки внимание римского проконсула Сергия Павла, Савл направился к нему излагать свое учение: «Савл, он же Павл, вперил взор (в римлянина) и, наполнившись духа святого, заговорил»... Дальше автор уже не возвращается к имени Савла, а называет апостола исключительно Павлом. Вы чувствуете ясно, что тут нет никакой мотивировки. Автор пользуется, так сказать, удобным случаем встречи с римским громким авторитетным именем, поражается как бы созвучием слов Савл и Павл и сам переименовывает своего героя. Повидимому, до него дошла история, связанная с име-

нем Савла, он сам приспособил ее к новому имени. Здесь интерполяция происходит на наших глазах.

Таково состояние дошедшей до нас литературы раннего христианства. Перед нами ничтожные обломки великой эпохи оживленного творчества, сохранившиеся лишь ценою такой обработки, которая отняла у них черты индивидуальности, краски места и времени, наделила их чуждыми вставками, подправила для узких богословских целей. Понятно, что наука, которая ищет прежде всего документов эпохи, непосредственных источников настроений общества известной поры, оказалась в самом затруднительном положении перед проблемами истории возникновения христианства. Вместо памятников времени, хотя бы отрывочных, хотя бы пристрастных, она встретила перед собою заколдованную крепость условных терминов, полустертых картин, обманчивых подстановок.

Для выработки критического метода это была суровая, но необычайно полезная школа. Ни на чем, может быть, в такой мере не воспитался исторический критицизм, как на анализе произведений раннего христианства. Так велики были, однако, трудности в этой работе, что вплоть до последнего времени мы еще встречаемся с рядом предрассудков, оставшихся в наследство от церковной традиции, которая одновременно и оберегала, и уродовала свои священные документы.

Самые упорные из этих предрассудков удержались до известной степени искусственно благодаря тому, что критическая работа преимущественно связана была с деятельностью протестантского богословия. Протестанты вели борьбу с католической церковью во имя религиозного самоопределения личности и старались истребить в христианской традиции, вплоть до самых основателей религии, все, что отзывалось гнетом авторитета; отсюда удаление чудесного элемента, стремление понимать старинные книги рационалистически и аллегорически, видеть в первоучителях христианства только людей, исторических деятелей. Поскольку, однако, протестантские ученые должны были оберегать свою церковную общину, они остановились на полдороге: они признали некоторые незыблемые догматы, а создателей этих догматов объявили величайшими религиозными гениями человечества. Для того, чтобы обосновать подобный взгляд, чтобы нарисовать образы основателя общины, Иисуса, и величайшего из его последователей, апостола Павла, они вынуждены признать Евангелия, Деяния и Послания подлинными документами самых ранних времен, т. е. задержать в существе критику их, как исторических источников.

Почти вся германская протестантская наука XIX века прошла под знаком этой связанности, этой двойственности побуждений и приемов. Отсюда объясняется множество сочинений под заглавием «Жизнь Иисуса» (из них наиболее у нас известная—Давида Штрауса; Ренанова жизнь Иисуса по своему направлению примыкает к германской протестантской школе). Их составители обыкновенно проявляют острый критицизм в отношении источников: они признают, что евангелия составлены сравнительно поздно, что эти книги не имеют в основе никаких непосредственных данных, что в них не сохранилось почти ни одного подлинного слова первоучителя; и тем не менее из евангельского рассказа они пытаются извлечь черты жизнеописания великого пророка и восстановить систему и манеру его учения.

Нам необходимо разобраться в представлениях либеральных богословов-рационалистов, так как их методы сейчас господствуют в науке. Эти ученые говорят на одинаковом с нами языке. Они заявляют себя прежде всего людьми науки, а потом уже церковниками. Мы можем требовать, чтобы они шли до конца, были последовательны в своих приемах и удовлетворили всем требованиям научного анализа. Постараемся набросать в общих чертах то, что дает нам обыкновенно «жизнь Иисуса».

Во времена императора Тиберия, когда Палестина находилась под управлением римской бюрократии, появился в Галилее народный проповедник необычайной силы и таланта, притом обладавший удивительно притягательным нравом и темпераментом. Иисус из Назарета был величайшим религиозным гением человечества, но деятельность его прошла в виде краткого, молниеносного момента. Он выступил внезапно, его проповедь длилась, может быть, не более года, самое большее—три года. Полем его странствующей проповеди была сначала глухая северная провинция, сам он был по занятию плотник, его последователи—простые люди, ремесленники, рыбаки.

Придя к сознанию, что он и есть Мессия, обещанный израильскому народу, галилейский проповедник решился на путешествие в религиозный центр иудейства, Иерусалим, сначала вызвал восторг, но скоро был схвачен, по наущению партии священников, и казнен при содействии римского наместника. Ни один из иудейских или языческих писателей не сохранил ни малейшей памяти об этом удивительном человеке и его мимолетном выступлении в качестве учителя и агитатора. Сам он не написал ни одной строчки, его учение было исключительно устной проповедью. Тем не менее в еванге-

лиях и посланиях должно признать отражение его взглядов и раскрытие его религиозного завещания.

Для того, чтобы объяснить возможность столь необыкновенных явлений, биографы Иисуса прибегают к своеобразным психологическим теориям. Они говорят, что разгадка чудодейственного влияния Иисуса заключается в поразительной силе его личности. Достаточно было кратких моментов его выступления перед простыми, бесхитростными людьми, чтобы оставить неизгладимо яркое впечатление. Его последователи, правда, необразованные и даже безграмотные, не только прониклись его жизненным примером, но так же запомнили дословно его речи, его сложные, иногда загадочные притчи и аллегории и передали в почти не измененном виде искусным литераторам, которые в свою очередь не видели и не слышали самого учителя, но поверили всему необыкновенному, что было им передано, и старательно записали предание на пользу потомства.

Мало того, случилось нечто еще более поразительное. Непосредственные ученики, видевшие смерть пророка и оставшиеся в Иерусалиме, тем не менее уверовали, что он воскрес, исчезнувши из гроба своего. В их мыслях он вознесся на небо и стал богом; его именем они стали исцелять страждущих; во имя погибшего на кресте они основали общину, которая скоро разрослась на всю империю, на все культурные страны, лежащие вокруг Средиземного моря. При этом самый ревностный апостол, самый искусный организатор новых религиозных общин, Савл (он же Павл), эллинизированный еврей из Тарса в Киликии, никогда не видел основателя секты. Узнал об Иисусе Савл лишь со слов непосредственных свидетелей; но такова была сила посмертного влияния, что одно имя казненного приобрело массы последователей его учению.

Надо признаться, что для историка только что изложенная картина представляет слишком много единственного, несравнимого и вследствие того мало правдоподобного. Для подтверждения таких головокружительных чудес приходится требовать очень хороших свидетельств, чрезвычайно веских доказательств и авторитетных ссылок.

Но мы встречаемся с фактом полного молчания современной римской, греческой и иудейской литературы. Насколько это обстоятельство было досадно и неприятно для тех христианских ученых, которые старались ввести факты возникновения христианства в исторические рамки, показывает отчаянная попытка вставить в текст Тацита и Иосифа Флавия упоминание об Иисусе Христе. Впрочем, замысел интерполяторов не достиг цели. Ведь вставки у Тацита и Иосифа Флавия

не дают никаких указаний на реальную обстановку событий, изображенных в евангелиях, и ни на шаг не подвигают нас в историческом понимании жизни Иисуса.

Что касается молчания Тацита, то еще можно было бы утешиться: интерес этого писателя сосредоточен на Риме, на придворных интригах, столичных волнениях и войнах, ведомых римскими командирами; его мало занимают провинции, особенно восточные, столь чуждые римлянам по своему быту; он мог и пропустить факт выступления галилейского проповедника. Совсем другое дело Иосиф Флавий. В двух сочинениях, «Иудейских древностях» и «Иудейской войне», он обстоятельно излагает события бурной эпохи от Ирода Великого до великого восстания 66 года. Он превосходно знает свою Палестину, интересуется всеми оттенками религиозных и политических партий своей родины, не пропускает ни одной детали в истории непрерывных почти восстаний страны, отмечает всех проповедников, отшельников, агитаторов, инсургентов этой эпохи. Насколько ценен Иосиф Флавий для изображения иудейской истории, современной предпологаемым евангельским событиям, видно из Евсевия, который не мог бы и шагу ступить без его помощи. И вот этот писатель, упоминающий между прочим об отшельнике Иоанне Крестителе, не дает ни единого намека на личность и деятельность Иисуса Христа!

Спрашивается: как же могла затеряться гениальная личность галилейского пророка? С одной стороны, произвести такое единственное по силе впечатление на ближайшую среду, с другой—остаться не замеченной для всех остальных? Биографы Иисуса находятся в исключительно трудном положении: их единственным историческим источником служит свидетельство новозаветных книг, которое, в свою очередь, фактически не может быть проверено и которое к тому же они сами подорвали своим критическим анализом.

Что же представляют книги Нового завета в смысле исторического материала для биографии Иисуса? Более половины канонических книг—послания и Апокалипсис—не интересуются земной жизнью Иисуса. Для апостола Павла, главного вероучителя христианства, странствования великого учителя по Галилее, его притчи, аллегории, ответы на вопросы, исцеления слепых и бесноватых, суд в Иерусалиме, обстоятельства гибели,—все это как бы не существует. Только смерть на кресте занимает апостола, и то не как реальный факт религиозно-политической драмы, не в качестве казни великого народного деятеля, а лишь как мистический символ, как мировое событие вне пространства и времени. Для

ав. Павла нет Иисуса-человека, сына своего народа и своего века; он вовсе не знает проповедника, горячего, самоотверженного деятеля, человека со страстями, стремившегося к жизненной цели, встречавшего друзей и врагов; он знает лишь бога, вера в которого спасает человечество.

Остаются в качестве исторического источника только евангелия, и даже собственно только три первых евангелия, так наз. синоптики (т.-е. дающие по сходству материала возможность составить синопсис, сводное обозрение). Что касается четвертого евангелия, носящего имя ап. Иоанна, критическая школа новейших ученых признает его за произведение религиозно-философского характера, написанное без исторической цели и без исторической тщательности, при свободном выборе отдельных эпизодов, с наклоном к резкому, почти демонстративному изображению чудес, совершаемых воплощенным божеством. В литературном смысле Иоанново евангелие относится к синоптикам, как одна из Робинзонад к оригинальному Робинзону Дефо или как гётевский Фауст к Фаусту Марло или к легенде о Фаусте XVI века.

Итак, синоптики—вот единственное прибежище для составителей «жизни Иисуса», отыскивающих биографический материал. В сочинениях, носящих такое или подобное заглавие, мы встречаемся с попыткой перевести картины евангелий от Матфея, Марка и Луки на события жизни обыкновенного смертного, понимать притчи и «слова господни» как запись устной проповеди странствующего учителя. Но спрашивается: в праве ли мы пользоваться евангелиями в таком реалистическом смысле?

Ведь евангелисты совсем не заняты обычными темами, которые входят в состав исторического или биографического очерка. Обстановка, в которой растет герой, его детские и молодые годы, его подготовка к последующей деятельности, общество, в котором он вращается, развитие его взглядов и настроений—все это вне кругозора евангельского изложения.

Возьмем евангелие от Марка, наиболее похожее на историческое повествование. Иисус сразу выступает как вполне готовая личность, лучше сказать, как личность уже известная читателям. Возраст его не определен, и это обстоятельство несколько не интересует автора. Откуда у него замечательная начитанность в Писании, каким образом выработался в нем столь высокообразованный и тонкий богослов, также не находит в евангелии объяснения. Выступает он не в родном Назарете, а в Капернауме; почему?—не понятно. Можно даже сомневаться, существовал ли Капернаум,—ведь больше о нем никто не упоминает. Не видно, чем питались

Иисус и апостолы, когда они покинули свое рыбачье ремесло и пошли за учителем, где они проживали. Евангелист, рассказывает так, что нельзя сделать никакого заключения о продолжительности работы Иисуса. В течение одного дня он призывает учеников, учит в синагоге, творит чудеса, излагает притчи, словом, сразу разворачивает все свои силы и качества, так что потом ему как будто уже нечего и делать в Галилее. Характер рассказа Маркова таков, что его нельзя назвать исторической повестью, а скорее хочется обозначить сценарием для драмы.

Два других синоптика, Матфей и Лука, не прибавляют никаких новых исторических и биографических данных. У них есть легенды о родителях и о рождении Иисуса, есть их генеалогия, приспособленная к данным Ветхого завета и к роду Давидову, так как Мессия должен был принадлежать к потомству Давида; у них расширены отделы, излагающие учение, есть подробности к картине страданий, есть новые сказания о воскресшем. Но в этих евангелиях мы еще более удаляемся от биографии. Нет ничего общего даже с историческим или психологическим романом. Чудесные дела чередуются с поучениями и притчами: конец евангелия относится к области мистики и безусловно не согласуется с жизнеописанием обыкновенного смертного.

Составители «жизни Иисуса» обыкновенно чувствуют крайнюю скудость евангелия в смысле фактических данных и прибегают к соединению евангельского рассказа с событиями и бытовыми чертами эпохи, среди которой евангелисты поместили своего героя; они вылетают святую повесть в цепь происшествий, известных из Иосифа Флавия и других писателей, и составляют таким образом «Новозаветную современность». Получается обманчивая картина. На первый взгляд кажется, что все подходит, хорошо ладится вместе, что сведения посторонних и рассказ евангелистов взаимно дополняют друг друга. Но только на первый взгляд. При анализе некоторых частных случаев мы замечаем, что евангелисты имели весьма слабое представление о хронологии событий, не знали иудейских учреждений. Пользоваться ими, как источником для восстановления палестинских событий начала I в. после Р. Х., очень опасно.

Вот пример. У всех трех евангелистов (Матф. XXI, 12—16, Марка XI, 15—17, Луки XIX, 45—48) рассказано, как Иисус вскоре после прибытия в Иерусалим вошел в храм и стал изгонять продавцов и покупателей, опрокинул столы менял и стулья торгующих голубями, говоря: «написано—дом мой

будет домом молитвы, а вы делаете его вертепом разбойников» (псал. VIII, 3).

Этот рассказ, очень важный и, так сказать, обязательный для евангельской композиции, не соответствует действительности того времени, куда он помещает Иисуса. В великом Иерусалимском храме не было и не могло быть ничего подобного торговле. Правда, торговали у ворот, на прилегающем базаре, продавали предметы приношений и жертв, предназначенных для храма, но такого рода торговля ничем не отличается от того, что в христианскую эпоху происходило у ворот какого-нибудь монастыря. Этих торговцев гнать не было никакого основания, не говоря о том, что частному человеку храмовая администрация и местные власти вообще не позволили бы так круто распорядиться.

Евангельский рассказ, однако, явно разумеет что-то другое, какое-то резкое осквернение храма, которому положил конец Иисус. Но в таком случае мы должны признать, что евангелист в полном заблуждении, что он передает фантастические происшествия и никоим образом не может служить свидетелем или очевидцем обстановки, которую решил изобразить. Можно, конечно, сделать одно предположение: весь рассказ надо понимать не как передачу факта реальной жизни, а как аллегорию; след., храм означает не великое иерусалимское здание, а царство божие или душу верующего и т. п. Но таким толкованием мы наносим серьезный удар теории, которая видит в евангелиях материал для исторической обрисовки эпохи. А затем мы косвенно подтверждаем то обстоятельство, что евангелист стоял очень далеко от места и момента описываемых происшествий: хотя бы храм подразумевался в аллегорическом смысле, но все же так непочтительно о нем мог говорить только иностранец, придумать такое произвольное, ни на чем не основанное сравнение мог только посторонний Иудее человек, который не только никогда не видел храма, но и ничего о нем не слышал достоверного.

Как опасно пользоваться евангелиями в качестве исторического источника, показывает особенно пример евангелиста Луки, который как раз претендует на историческую осведомленность и делает больше всего исторических ошибок. В начале III главы евангелист так определяет момент выступления Иисуса: это было при Ироде Антипе и Лисании, князе Абиленском, в священство Ганны и Кайафы. Но дело в том, что Лисаний умер за 60 лет до того, а двое первосвященников не могли править зараз.

Очень странные вещи рассказывает тот же евангелист в предшествующей II главе. В ст. 1—5 говорится, что родители Иисуса отправились к моменту его рождения из галилейского Назарета в иудейский Вифлеем, откуда они были родом. Зачем они переселились? Евангелие объясняет: в это время вышел приказ по всей империи от императора Августа, чтобы была произведена всеобщая перепись, а для этого все должны были идти на место своего рождения.

Тут много неладного. Прежде всего, помимо евангелий, мы нигде не знаем о всеобщей переписи в римской империи (Иосиф Флавий упоминает только об описи имущества на Востоке, произведенной наместником Сирии Квиринием). Факт этот представляется в высокой мере сомнительным. Но допустим, что она происходила. Зачем же для переписи понадобились такие странные переселения? Особенно неудачна та прибавка, которую делает евангелист для точного счета времени: «эта перепись,—говорит он,—была первая и пришлось на время управления Сирией наместника Квириния». Между тем выше (I, 5) евангелист заметил, что излагаемые им события приходится на время царя Ирода (разумеется Ирод I, или Великий). Дело в том, что эти два имени не соединимы. Когда правил Ирод, не было римских наместников, Иудея была самостоятельным государством, находившимся лишь в дружественной вассальной связи с Римом. Квириний, о котором евангелист прочел у Иосифа Флавия,—личность историческая, но между смертью Ирода (в 4 г. до Р. X.) и вступлением римского наместника в присоединенную в качестве провинции Иудею (в 6 г. после Р. X.) прошло 10 лет.

Такую ошибку не мог бы сделать писатель, если бы он жил сам в Палестине вскоре после описываемых событий, т.-е. около середины I века. Так мог судить об Иудее только иностранец, писавший много позже по смутным данным, которые он не в силах был проверить. Между прочим заметим, что если, ради сохранения исторического авторитета Луки, выкинуть из его повести Ирода и сберечь Квириния с переписью, то этим нанесешь тяжкий удар рассказу другого евангелиста, Матфея (II, 1—8), о том, как Ирод узнавал от волхвов о рождении Иисуса, как приказал истребить вифлеемских младенцев и т. д.

На изложенной частности видны приемы работы евангелистов. Исторические данные у них не составляют прочных точек опоры; не от таких проверенных фактов пошло исследование. Нет, исторические события отысканы ощупью, подобраны по соображениям религиозно-символического характера. Перепись с переселением по месту рождения привлечена

для того, чтобы Мессия, который должен происходить из рода Давидова, мог родиться в Вифлееме, родине Давида. Он должен, кроме того, родиться при Ироде, воплощенном сатане Иудей, при царе-нечестивце, для того, чтобы получилась противоположность: царь-спаситель появляется на смену царю-губителю; далее для того, чтобы найти приложение старинной легенде о том, что великий нечестивец, узнавши о рождении мстителя за поработенный народ, ищет его гибели.

Чем более раскрываются перед нами приемы композиции евангелистов, тем менее они кажутся надежными в качестве исторических руководителей. Они явно слишком далеко стояли и по времени, и по месту от событий, от тех народных, культурных, бытовых и географических условий, с которыми они хотели связать свою повесть. Можно сомневаться, была ли у них вообще историческая цель; вся их работа ограничивалась лишь тем, чтобы приобрести некоторые исторические приемы.

Для либеральной богословской школы, представления которой мы разбираем, авторитет евангелий, как сочинений исторических, стоит незыблемо. Сторонников этого направления не смущают странные исторические погрешности евангелистов, не смущает и скудость в евангелиях исторических данных. В их глазах евангелия приобретают значение крупнейшего, единственного в своем роде документа благодаря тому, что в них отразилась с необыкновенной силой оригинальная личность основателя христианства. По их мнению, вера в искупление человечества кровью страданий не могла восторжествовать без великого личного примера. Она предполагает страдальца. Или, иначе, новое учение необходимо должно было появиться в устах великого учителя. Таким образом личность и судьба Иисуса засвидетельствованы самым фактом происхождения христианства. Нельзя себе представить его возникновение без великого гениального первоначального деятеля. Поскольку евангелия отразили этот факт, они имеют историческую ценность.

Эту мысль с пафосом и решительностью выразил Harnack<sup>1)</sup>, первейший авторитет среди нынешних германских либеральных протестантов: «немыслимо «понять начало движения, подобного возникновению христианской религии, если не представить себе основателя в качестве исторической личности, — больше того, пришлось бы сочинить такового, если бы случайно предание нам ничего о нем не рассказало».

<sup>1)</sup> Aus Wissenschaft und Leben. 1911, II, p. 170.

Гарнак почти буквально совпал с знаменитой аргументацией Вольтера в пользу бытия Божия: «если бы не было Бога, его надо было бы выдумать!» Доказательство остроумно, но логически слабо. Ведь, говоря так, мы только обнаруживаем, насколько нужно и желанно нам известное заключение, в какой мере жаждем мы удержать его в силе. И мы невольно попадаем в безвыходный круг. Мы доказываем авторитет известного сочинения тем, что предполагаем в нем отражение роли гениальной личности; но все, что мы утверждаем относительно этой гениальной личности, мы извлекли исключительно из одного этого сочинения. Евангелия считаются историческим документом потому, что они говорят о величайшем историческом гении, но убеждение в реальности этого лица только и держится на признании свидетельства о нем историческим источником.

В воззрениях либеральной школы мы встречаемся также с своеобразным понятием об основателе религии. Это понятие опирается, однако, на устарелые, опровергнутые научные аналогии. Прежде для каждой из крупных, так называемых всемирных, религий, для парсизма, или маздеизма, для древнеизраильской религии, для буддизма предполагался основатель. В настоящее время мало кто пытается распознавать в Заратустре, в Моисее, в Будде реальные исторические фигуры; в них видят обыкновенно символы, сложившиеся в ходе самой религиозной пропаганды.

В сущности только одна история мусульманства представляет некоторые основания для разрисовки жизни и деятельности основателя секты. Но как раз на примере Мохамеда видно, что легенда об основателе религии несравненно важнее, чем сама реальная фигура, с которой ее связывают. Мохамед был, сколько можно судить, слабовольный человек, тщеславный и жестокий, преданный эротизму, мечтатель, отдававший своим видениям. На окружавшую среду он имел большое влияние; он вдохновлял воителей на страшные дела. Как завязка завоевательной политики мусульман, деятельность Мохамеда, конечно, имела значение, но основателем религии Мохамеда нельзя назвать. Священные книги ислама, Коран и Сунна, составленные будто бы по воспоминаниям близких его сподвижников, составляют работу ученых богословских кругов. Их подлинная связь с Мохамедом так же сомнительна, как и отношение книг Нового завета к деятельности Иисуса; тут поднимаются те же самые недоумения. Но одно ясно: Коран не заключает исторических свидетельств о Мохамеде. Не будь случайных заметок старинных арабских летописцев о мекканском пророке, который бежал в Медину, основал

еретическую общину и отвоевал потом обратно родной город, мы бы ничего о нем не узнали из священных книг.

Верующих мусульман эти биографические сведения мало интересуют. Сведения эти вовсе не изображают основателя религии. В дальнейшей судьбе ислама черты реальной личности пророка не играли никакой роли. Совсем другое дело—имя Мохамеда, воля его заместителей, вера в его новое воплощение. Но в свою очередь эти предметы веры не имеют никакой опоры в подлинной биографии Мохамеда.

Если историка спросят, почему он не хочет отнестись к евангелиям так же, как к биографическим сведениям о Мохамеде, сообщенным арабскими летописцами, то, помимо уже сказанного о позднем и далеком от реальности возникновении евангелий, надо еще указать на психологическую невозможность реального истолкования того образа, который закреплен в евангелиях.

Все же труднее обойтись с так называемыми мессиянскими заявлениями, вложенными в уста Иисуса. В ев. от Матфея, гл. XVI, 16—19, Симон Петр говорит: «ты—Христос, сын Бога живаго». На это Иисус отвечает: «блажен ты Симон, сын Ионы. Не плоть и кровь тебе это открыли, а мой Отец в небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на этой скале (по-гречески «петра», след. игра слов) я построю общину мою, и врата адавы ее не одолеют. И я дам тебе ключи царства небесного; все, что ты свяжешь на земле, будет и на небе связано; все, что ты на земле разрешишь, будет и на небе разрешено».

Для православных и католиков, принимающих евангелие в качестве откровения, приведенные слова имеют необыкновенную важность и силу, — они произнесены самим божеством. Но что должны сказать о них либеральные богословы протестантизма, в глазах которых Иисус — реальная личность, исторический деятель, а евангелие — запись его дел и слов, составленная со всеми погрешностями и недостатками, какие свойственны человеческому произведению? Можно ли допустить, что подобную речь произнес обыкновенный смертный? Если да, то как вам придется обозначить его психическое состояние? Что мы должны сказать о его моральном облике?

В устах смертной, хотя бы и гениальной личности подобные заявления кажутся нам нестерпимыми. Правда, есть попытки объяснить мессиянские речи Иисуса, заявление его о своем божественном призвании и будущем возведении в ранг божества его восторженным состоянием, его склонностью к экстазу, его необычайно горячим темпераментом,

Однако, стоит только представить себе такого человека в нашей среде: будет ли он вызывать что-нибудь другое, кроме жуткого или отталкивающего чувства? Вот почему более рассудительные из либеральных богословов готовы признать, что человек Иисус не делал сам мессианических заявлений; лишь ученики впоследствии отождествили Иисуса с Христом. След., по их мнению, в уста Иисуса вложены слова, которых он заведомо не мог сказать. Но, так как подобных слов весьма много, толкование такого рода наносит тяжелый удар евангелию, как историческому свидетельству. Мы в праве спросить критиков: где же та мерка, которая позволяет им определить, что подлинно и что нет? Не руководит ли ими совершенно произвольно созданный образ основателя религии, который они хотят вычитать в евангелии?

Едва ли есть нужда в таком живосечении евангелий. Не лучше ли признаться, что евангелия не пригодны в качестве исторических свидетельств для той эпохи и тех событий, о которых они передают? Не перестать ли вообще пользоваться книгами Нового завета, как документами для описания какой-то земной реальности? Таким отказом мы несколько не умалим важности и достоинства этих книг, напротив, устремим внимание на другую более достижимую цель: понять евангельскую повесть, как произведение своего времени, как памятник настроений, верований, исканий эпохи.

Не зачем добиваться портрета реальной смертной личности Иисуса. Надо дать себе отчет в том, что Иисус в евангелиях задуман не как человек, а как сверхъестественное существо. Правда, религиозно-поэтический образ, идеал помещен в обстановку известного времени и места; но не надо обманываться относительно ценности этих исторических и географических данных: они взяты из вторых и третьих рук, они не больше как кулисы символической драмы. Стараться использовать этот скудный, несамостоятельный исторический материал для разрисовки реальных картин — значит терять время, работать над задачей неблагоприятной и не замечать истинной силы и величия литературных творений, входящих в состав Нового завета.

Если смотреть на евангелия, как на религиозные поэмы, если видеть в них ответ на жадные вопросы возбужденной религиозными исканиями среды, они поражают, напротив, удивительной цельностью настроения. Мы должны признать, что литературное творчество столь напряженное могло вырасти лишь на почве крупных жизненных явлений. Его завязкой не мог послужить один единственный личный при-

мер искупительной жертвы, да еще пример, который прошел совершенно незамеченным. Основой идеи великого страдальца, отдающего себя за грехи людей, основой образа утешителя человечества не могла быть реальная история безвестного погибшего проповедника. Для того, чтобы массы успокоились на этом образе, их должны были всколыхнуть события, которые настроили их к поискам религиозного утешения. С другой стороны, идеальная личность спасителя должна была гораздо раньше занимать умы и заполнять собою воображение участников религиозных общин.

## II.

### Римское самодержавие и церковная жизнь Востока.

Всем, кто вырос так или иначе в христианской традиции, очень трудно разбираться в оценке отдельных учений и понятий, входящих в состав христианства. При нашей привычке видеть в христианстве нормальную религию, религию по преимуществу, мы уже не чувствуем, что в нем оригинального, своеобразного и единственного. Только историческое сравнение может нам дать мерку в этом отношении. Европейской науке не скоро удалось добиться правильного взгляда в этом смысле, а в широких кругах общества до сих пор очень слабо понимание сравнительно-исторических задач изучения религий.

Очень распространено убеждение, что христианство принесло новые догматы, новые предметы верования; затем, — что оно создало новое возвышенное богослужение; наконец, что оно провозгласило новую, до тех пор неслыханную мораль, высокое нравственное учение, недоступное предшествующим, более грубым векам. Наука выяснила, что эти представления ошибочны. В христианском учении и обрядах нет ни одной черты, к которой не нашлось бы множества аналогий в других веках и у других народов.

Во всех религиях есть бог-страдалец, есть рассказ о смерти молодого, прекрасного телом и душой ангела или героя, который потом воскресает, и есть соответствующие дни печали и праздники радости. Всюду на свете есть история воплощения бога на земле, при чем он рождается чудесным, мистическим образом, от девы. Между прочим много общего с христианской легендой рождения Иисуса представляет рассказ о рождении Будды: в имени матери Будды, Майя, есть даже созвучие с иудейской Марьям.

Очень старинна вера, что грозного бога можно умиротворить кровавой жертвой. История Авраама представляет откровенное признание, что израильтяне допускали жертву первенца. Греческая религия с особенной любовью изобра-

жает бога или святого, благодетеля людей, проливающего кровь для их спасения или исцеления. Таким искупителем рода человеческого является Прометей, пригвожденный к скале, которому коршун терзает сердце; другой спаситель человечества, Геракл, сын верховного бога, избавляет Прометея от страданий. В греческой же религии есть прототип Христа, сына божия, нисходящего на землю и приносящего себя в жертву. Таким страждущим богом был Дионис-Загрей, рожденный от Керы (девы); его терзают и мучат злые враги, он истекает кровью и его разрывают на части, но отец его небесный, высший бог, отдавший его на жертву, совершает чудо и воскрешает его.

Образ праведника, гибнущего безвинно и принимающего на себя грехи других, издавна привлекал проповедников и мыслителей. Пророк Исаия (гл. 53) говорит о великом страдальце: «Истинно, он принял на себя наши страдания. Мы считали его несущим удары и муки от Бога; но он изранен ради наших злодеяний и разбит из-за наших грехов. На него обрушилась кара для того, чтобы мы испытали мир, и мы исцелены его ранами. Мы блуждали, как овцы; но Бог сложил все наши грехи на него. Когда его казнили и мучили, он безмолвствовал, как агнец. Он погребен, как безбожник, хотя он никому не сделал зла, и не было обмана в его устах». Ту же цель—изобразить невинно страдающего справедливца — встречаем мы у греческого философа Платона (в книге «о государстве»): «в неизвестности и презрении ведет праведник жизнь, полную мучений. Наконец, он подвергается бичеванию, пытке, его бросают в темницу, ослепляют и, после всех страданий, пригвозждают к дереву (или распинают)».

Таким образом задолго до христианства был выработан основной мотив драмы, изображенной в евангелиях. Но, может быть, оригинальны термины выражения, формулы Нового завета?—Нет, и этого нельзя сказать. Слова «спаситель мира», «евангелие, или благая весть», «пришествие во славе» (по-гречески парусия), все эти магические звуки, примененные христианством, составляют заимствование, подражание официальному языку государства. «Спасителем» (Сотером, Сальватором) назывался император, отчасти в том духе, как у нас Александр назывался благословенным или еще раньше Владимир—святым. Особенность лишь в том, что римские императоры были настойчивее позднейших европейских, ставили себе всюду статуи и требовали курений, жертв и божеских почестей. Роль спасителей они играли с большим шумом и блеском. «Евангелием» называлось по-

славие или приказ государя; таким же способом обозначались всякого рода вести о придворных событиях. Например, о дне рождения Августа было написано на официальной памятной доске: «это событие будет началом ряда евангелий (т.-е. важных знамений) для страны». Парусия, выражение, применяемое в Новом завете к Христу, давно существовало в качестве канцелярского выражения для приезда самодержца.

Обряды, принятые христианством, также не представляют ничего нового и оригинального. Ограничимся одним примером. Важнейший обряд христианства, причащение телом и кровью спасителя, воспроизводит обычай, распространенный в самых разнообразных видах у всех народов мира. Этнологи видят в нем одну из форм эндоканнибализма, т.-е. такой трапезы, когда вкушают тело не врага, а друга, родственника или покровителя, чтобы обеспечить себе счастье, богатство, блаженство, исцеление и т. д.

Есть очень определенные указания на то, что в этом обряде первоначально заключалась самая реальная правда. Сохранились рассказы об умерщвлении царя или верховного жреца, т.-е. самого ценного существа племени, при чем верующие разделяли между собою его кровь. Еще не так давно люди племени гондов в Индии похищали детей высшей касты, браминов, чтобы во время посева убить аристократического ребенка среди жестоких мук, вкусить его крови и окропить его кровью поле ради урожая. Со смягчением нравов реальное людоедство заменяется вкушением жертвенного животного, напр., ягненка, или фигуры, выпеченной из теста в виде коровы или пряника. Несмотря на такую замену, старая жестокая идея сохранилась в полной силе; для своего спасения, для своего блаженства верующие принимают участие в мистическом пиршестве, где поглощают своего бога-покровителя. Очень интересную параллель к христианскому обряду причащения и к символу креста представляет старинная языческая Мексика; там выпекали фигуру бога-спасителя из теста и пригвождали ее ко кресту, который назывался «древом нашей жизни и плоти»; затем снимали фигуру, ломали хлебный символ и вкушали его в виде священной целительной пищи.

Когда ранние христианские общины установили у себя евхаристию, они не внесли нового обряда, напротив, скорее оживили старинные народные обычаи, которые стали приходить в упадок.

Ничего нового и чрезвычайного не заключает в себе и нравственное учение христианства. Тот взгляд, будто бы на свете нет более высокой морали, чем проповедь еван-

гелия,—не что иное, как остаток восхвалений собственной религии со стороны распространителей христианства: проповедники и миссионеры всегда утверждают, что их вера в нравственном отношении превосходит все другие. Между тем, если перебрать евангельские заветы—предписания любви к ближнему, требования чистоты семейного быта и т. п.,—мы не найдем ничего такого, что бы не имелось в священных книгах старинной египетской, сирийской и других религий. Стоит, напр., посмотреть «книгу мертвых», которую клали в Египте в гроб умершему; мы там найдем требования нравственной чистоты, благожелательности к ближним, несколько не отличающиеся от принятых в христианстве.

Тот взгляд, что любовь к ближнему составляет содержание всего закона, мы встречаем у старинных иудейских раввинов. Рабби Хиллель говорит: «что тебе самому неприятно, того не делай ближнему; в этом и состоит все учение, остальное лишь объяснения к нему». Не новость в христианстве и нагряжение завета любви вплоть до требования любить врагов. Уже старинные, так наз. Моисеевы, предписания советуют мягко относиться к чужим; а Талмуд изобилует приглашениями любить врагов и повторяет правило, что лучше терпеть преследование, чем преследовать самому. Самые выражения евангелий «ближние, любовь к ближнему» заимствованы у греческих моралистов.

Вообще, что касается нравственных предписаний, христианство просто стоит на обычном, так сказать, среднем уровне культурного общества, ничего не меняет в окружающем мире и ничего не прибавляет. Если же мы обратимся к нравственному идеалу, к общему представлению о нравственном типе развитой личности, христианство окажется на ступени не особенно высокой. В христианской морали главное ударение лежит на уступчивости, смирении, на жалости и расчете на жалость со стороны другого: «если тебя ударят по одной щеке, подставь другую». Нет в христианстве ни малейшего призыва к чувству чести и достоинства личности, нет идеи высшего долга, обязанностей, вытекающих из понятия о благородстве человеческой личности. В этом отношении моральный идеал стоиков неизмеримо выше христианского. Своим нравственным учением христиане не могли произвести особенное впечатление на окружающий мир.

Итак, ни в догматах, ни в обрядах, ни в морали христианство не дает ничего нового. В чем же состоит оригинальность и историческое величие факта возникновения христианства?

Оригинально и поразительно образование великой церковной общины, появление мощной оппозиции против всецельной дотоле римской империи. Оригинально и поразительно возникновение документов этой новой общины, ее манифестов, ее священных книг, изложение ее интимных мыслей и чаяний. Пусть в книгах Нового завета нет ни одной новой идеи, ни одного нового образа, даже ни одного нового стилистического оборота; пусть евангелия и послания составляют мозаику красивых цветов чужой поэзии и чужой проповеди! Но эти произведения сильны и ярки благодаря мощи побуждений, которые вдохновили творцов общины соединиться вместе для общей работы, а литераторов и проповедников—собрать рассеянную мудрость культурного мира, нарисовать образ великого идеального основателя церкви, составить повести, поучения, религиозно-поэтические картины, способные действовать на людей самого разнообразного характера, общественного положения и степени образования.

Каковы же были обстоятельства, давшие жизнь ранней церкви и начальной литературе христианства? Какие настроения породили их? Какие общественные круги были ими охвачены?

Девятнадцать столетий тому назад почти весь культурный мир подчинился торжествующей силе римской империи. Римский империализм лег на всех тяжелым бременем. Римляне принесли ненасытную жажду господства над другими нациями. У них все служило одной верховной цели—войне. В деле инженерном, артиллерийском, в военной дисциплине они превосходили без сравнения всех современников. Римляне были беспощадными и искусными бюрократами. Хотя у них короткое время бушевала демократия, они остались чужды греческому увлечению политической свободой и самоуправлением, считая себя в то же время призванными покорить весь мир, дать всем народам порядок и законы.

Здесь не место описывать порядки римской империи; достаточно нам отметить общие результаты ее господства. Если уже в самом Риме прекратились народные собрания, то и подавно в подвластных странах ни о каком участии народа или образованных людей в политике не могло быть речи. В больших городах несколько богачей, отмеченных милостью римского самодержца, сходились в думу и обсуждали вопрос об устройстве фонтана или бань или о чествовании императора в день рождения,—к таким важным делам и сводилось самоуправление. В школе продолжали читать и учить наизусть речи великих старых ораторов—Перикла, Демосфена, Гракхов, но эта наука лишь обре-

меняла память: горько было сознавать, что когда-то люди могли свободно высказываться, что можно было бороться за свои права, увлекать за собой народную массу. Теперь таланты, энергии были заказаны пути; молодые силы заранее были осуждены на бездействие, на кипение в пустынях, на мелочную, скудную жизнь. Да, конечно, можно было заниматься литературой, искусством, наукой, но ограничения и запреты до крайности суживали горизонт. Сохрани бог похвалить республику! На сцене можно было изображать только мелкие интрижки, осмеивать бульварные нравы.

Когда культурным людям загораживают политику, т.-е. занятие вопросами общего характера и широкого масштаба, они, смотря по вкусам и наклонностям, или бросаются на игру и забаву, культивируют порок, или уходят в созерцательность, в отвлеченное мышление. Когда воля человеческая до крайности стеснена, характер людей портится; не имея возможности проявлять себя на просторе, они отдаются противоестественным наклонностям, бросаются на всякого рода извращения. В этом отношении любопытно одно явление эпохи римской империи, которое можно назвать психопатической эротикой, болезненным интересом к сексуальным вопросам.

Собственно говоря, мы знаем об этом явлении лишь косвенно, из нападок христианских апологетов на так наз. языческую мифологию. Странное содержание заполняет некоторые апологии. Авторы их заняты подбором соблазнительных тем из жизни богов и героев с тою целью, чтобы составить из них картину чудовищного разврата и показать мерзость язычества. Между прочим для постороннего читателя видно, что сам обличитель относится к сексуальным вопросам спокойно, что и он захвачен болезненным интересом эпохи. Но спрашивается, верна ли эта картина язычества, и откуда апологет ее взял? Неужели старинная мифология только и знала прелюбодеяния, насилия, эротические наслаждения? Конечно, нет; как раз именно современники христианских обличителей обработали мифы в порнографическом духе, сделали из них сантиментально-сладострастные романы, до бесконечности вариировали тему чувственной любви.

Эта частность в бытовой основе тогдашней литературы говорит очень много. Она показывает, как мельчает, как принижается общественная жизнь там, где водворилась наверху грубая исключительная власть. Надо представить себе во всей силе и обширности факт продолжительного отстранения культурного общества от политики, — тогда можно

понять ту почву, на которой буйно разрастаются религиозные мечты и религиозные искания.

У человека отняли заботу о реальном, существенно для него важном. Ему запретили всякую деятельность, которая могла бы отвечать его законной гордости, героической стороне его натуры. Вся его энергия уходит в туманные блуждания, в идиллические сны, в мысли о нереальном потустороннем мире. Не надо, однако, обольщаться, что в человеческом сознании происходит только перестановка сюжетов, что умственная жизнь продолжает идти тем же темпом, — нет, мы имеем дело с настоящей болезнью, а всякая болезнь ослабляет организм. В обществе нечувствительно совершается падение культурных вкусов и привычек. Чем сильнее развивается религиозная мысль, тем более в ней самой заметно огрубение.

На одном характерном примере можно ясно видеть одичание религии и философии. В числе религиозных исканий того времени очень заметное место занимают попытки поверить в бессмертие человеческого существа. Этой темой весьма интересовалась философия. Но в пропаганде христианства она приняла резкий материалистический вид воскресения умерших. По этому поводу любопытно отметить, что идея бессмертия прошла какую-то странную кривую, то падала, то опять возрождалась.

На ступени старинного охотничьего быта потусторонний мир мыслится где-то совсем близко от здешнего. Дикарю чудится, что он во сне делает туда полеты; он считает, что вполне возможен окончательный переход на тот свет при сохранении обычного образа жизни; но в своем бессмертии человек не сомневается. В более культурном дружинном обществе гомеровского времени к бессмертию отношение уже совершенно иное. Гомер изображает умерших привидениями, жалкими подобиями людей; не хочет ли он сказать, что они живут только в воображении? Очень своеобразен обряд сожжения умершего героя на костре вместе со слугами, с животными и драгоценностями. В нем как будто намек, что лучшие из людей будут унесены в виде дыма в страну солнца, на острова блаженных; но возможно, что такое путешествие современники Гомера считали поэтической сказкой. Тот же грустный скептицизм выражен в вавилонской поэме о странствованиях Гильгамеша, который хочет соединиться с погибшим другом своим. В поэме отражается не вера в бессмертие, а тоска по бессмертию, которое кажется почти невозможным.

Поблещая в просвещенных кругах вавилонского, иудейского, греческого, римского общества, мысль о бессмертии снова появляется к концу существования античного мира: в Греции стойки, среди иудеев направления «религии духа», спиритуалисты и мистики учат, что человек состоит из двух начал—одного вечного и вследствие того реального, это—дух; другого—преходящего, непрочного и вследствие того нереального, призрачного, это—тело. Родина души—другой мир, небесный, воздушный. Духовная сущность может не один раз спускаться на землю и замыкаться в разные тела. С рождением данного человека душа не родится впервые; она жила в мире задолго и лишь нашла на земле новую оболочку. После смерти душа выходит на свободу, но может испытать новое воплощение.

Это учение о переселении душ воспринимается христианскими кругами, но не остается здесь в своем чистом виде; оно смешивается с верованием грубым и материалистическим, происходящим из Египта, страны засушенных мумий: принимают веру в возможность оживления умершего тела, допускают воскресение мертвых, при условии возврата духа в прежнюю оболочку. Перед нами один из примеров возрождения стариннейшей религии; мысль культурного общества обогащается одним из забытых суеверий.

Из всех христианских догматов наиболее неприемлемым кажется сейчас воскресение мертвых. Но оно было таким и в начале христианской пропаганды. Рассказ «Деяний апостольских» (XVII, 32—33) дает в этом отношении очень наглядную картину. Апостол Павел проповедует в тонко развитой, философски образованной среде афинян. Его внимательно слушают, но когда он доходит до воскресения мертвых, некоторые афиняне смеются, другие говорят: «ты нас не скоро в этом убедишь!», и проповедник вынужден покинуть Афины, признавши свой неуспех.

Четвертое евангелие дает нам образчик того, как внушалась вера в чудо воскресения мертвых. Один из наиболее странных рассказов того самого евангелия, в котором есть не мало страниц высоко-философского подъема, — история воскресения Лазаря (гл. XI, 1—44). Надо обратить внимание на манеру, с которой евангелист вводит изображение чуда. Иисус говорит Марфе, сестре умершего: «веруешь ли, что он будет воскрешен?» Она отвечает: «да, и знаю, что он воскреснет в последний день» (т. е. в конце мира). Иисус не довольствуется такой отвлеченной верой; нет, воскреснет тело, лежащее в гробу. Марфа замечает еще раз: «мертвец ведь лежит четвертый день, от трупа пахнет». Еванге-

листу нужна такая реалистическая подробность, он как бы пробует читателя на самом резком эффекте для того, чтобы не было сомнения в грубо-волшебном характере чуда, чтобы сразу смирить все возражения здравого смысла.

На своеобразной форме, которую принимает учение о бессмертии человека, видно, как далеко зашел упадок культурного сознания общества. Религиозные искания, отразившиеся в христианстве, образуют смешение философских идей и возродившихся остатков древней магии.

Мы видели, что сужение горизонта общества, его уход в созерцание, в религиозные мечты стоит в связи с самодержавным строем римской империи, с истреблением политической жизни в обширном круге средиземноморских стран. Тот же самый факт беспощадного государственного деспотизма объясняет нам, почему и как произошло объединение в могущественный союз искателей религии, тихих и бурных, усталых и полных энергии.

В новоевропейской науке, и особенно у германских ученых, принято идеализировать римскую империю в качестве точной и аккуратной административной машины, обеспечивавшей широким слоям населения хорошее питание, спокойный обмен, наслаждение удобствами частной жизни. Но в пользу правильности такой картины можно было бы привести только несколько официальных заявлений самой римской администрации. Факты социальной действительности говорят обратное. Римляне, господствующий народ, не производили сами никаких богатств, а только забирали большую долю прибыли с чужого труда. Из подвластных стран они влекли свободных рабочих и обращали в каторжных невольников для своих плантаций. Все чужие сбережения, все запасы золота, драгоценностей, тонких товаров, художественной обстановки они уносили в свой центр. Римляне даже не давали себе труда вести торговлю в покоренных областях или руководить промышленными предприятиями. Они присылали в провинцию тучу чиновников, ростовщиков и сборщиков; пришлецы брали на учет всякую копейку, сдились у всех узлов обмена и на всех дорогах, по которым двигались товары, и забирали безбожную лихву; по пременам представители командующего народа вламывали кассы и ящики и уносили сразу капитал, накопленный за долгие годы.

Систематический грабег совершался не без прикрытия красивых фраз. Римское правительство забирало добычу для столичной бедноты, для привилегированных пролетариев, носивших имя римских граждан, и, действительно, часть на-

грабленного уходила на закупку хлеба и на устройство зрелищ в цирке и в амфитеатре.

Необходимо представить себе неизбежный результат такого хозяйничанья. Как ни раздробили римляне покоренные страны, но постепенно избираемые стали соединяться и складываться в оппозицию. Выключенные от политической жизни и управления, недовольные и обороняющиеся от государства обыватели создали свое новое общество, выработали в своей среде особое право, сложили себе свой суд, свои финансы. Раз государство выкинуло их из своей среды, объявило их париями, они сами прониклись к нему враждой, признали его нечистым, злым началом и стали избегать всякого с ним соприкосновения. Это отчуждение общества от официальных сфер нигде не сказалось так резко, как в чувствительной области религиозных верований. Если и без того покоренные держались веры, чуждой римлянам, то они старались теперь всеми силами расширить это различие: им хотелось думать, что их разделяет бездна; они готовы были считать себя преследуемыми праведниками, а господствующий слой — погрязшими в пороке злыми нечестивцами.

Настоящим полем развития оппозиции в первый век империи, при Августе, Тиберии, Нероне, был культурный Восток. Две большие нации, иудейская и греческая, обладали каждая своеобразной организацией, которую можно назвать церковью, или религиозным обществом. У иудеев организация была централистическая с церковной столицей в Иерусалиме, очень похожая на средневековый католицизм, объединенный в Риме. Греция как была страной маленьких республик, так и в церковном отношении осталась областью сектантских общин, бесчисленных автономных кружков и союзов. Оба эти явления представляют капитальную важность для образования последующей христианской церкви. Христианское общество выросло из этих организаций и продолжало их. Необходимо остановиться на том и другом явлении.

Едва ли в истории был другой пример такого великоленного храма и такого блестящего богослужения, какие имел Иерусалим до катастрофы 70 года после Р. Х. Храм, выстроенный Иродом, составлял целый укрепленный, украшенный город или замок на горе. В священной посуде, в плитках он хранил в себе громадные запасы золота. Его доходы, которыми заправляла иерархия высшего духовенства, не оскудевали, а все росли, благодаря сборам и приношениям, сходявшимся от верующих из всех стран культурного мира. В распоряжении иерусалимского священства и его выборного главы, первосвященника, были особые сборщики, отправляв-

торые прониклись иудейским мировоззрением, и обратно, это могли быть иудеи, принявшие греческий религиозный уклад.

Каждая нация дала в слагающееся общество свои черты: греки—подвижность, гибкость, автономию, иудеи—иерархию, подчинение большому всеохватывающему целому.

Если мы выяснили общие условия, вызвавшие религиозные искания, если мы знаем элементы, из которых сложилась церковь, то все еще нет ответа на вопрос: когда и как возникло христианство? Пока мы определили лишь те материалы, из которых построилось здание церкви, только основные мелодии, из которых образовалась религиозная симфония. Само творение—результат грозных и тяжких событий, которые, с одной стороны, потрясли жестоким ударом религиозную жизнь, с другой—скрепили разрозненные до тех пор группы.

События, о которых придется упомянуть, были одновременно политическими и религиозными. Между Западом и Востоком, между Римом и иудейским миром произошел жестокий разрыв. Каковы были причины катастрофы?

В империи царил Юпитер Капитолийский и его младший сын, обоготворенный император, в Иерусалиме—Бог Израиля, привлекавший миллионы богомольцев. Одно время казалось, что боги готовы размежеваться. Август, устроитель империи, предписал, чтобы ежедневно в великом иерусалимском храме приносилась жертва за здравие его, императора, и его семьи. Иудейские первосвященники с большим удовольствием возносили эти молитвы за официальный Рим, потому что таким способом они обеспечивали свое державное положение в церкви; в то же самое время и тем же самым они обязывались за весь правоверный народ, обещали его повиновение Риму.

Легче было, однако, дать такое обещание, чем исполнить его. Обе стороны, и римляне, и иудеи, одинаково были виноваты или не виноваты в нарушении религиозного мира. Римляне—потому, что не могли превозмочь жадности до золота; потому что посылали к иудеям бессовестных и бестактных администраторов; потому что не хотели понять бурное кипение в религиозном котле, который представлял собой тогдашний Восток. Иудеи—потому, что в массе вовсе не довольствовались мирным житием созерцательных сект. Иудейство представляло собой большую промышленную и интеллектуальную силу. Своими колониями, своими капиталами оно заполняло весь Восток. Помимо иудеев, живших в пределах римской империи, было много представителей этой нации в соседнем парфянском государстве, на Евфрате,

в области Вавилона, и как раз это были самые передовые в умственном отношении слои иудейского общества. Иудеи имперские и иудеи зарубежные, старовавилонские, находились друг с другом в оживленных сношениях—коммерческих и литературных, деловых и идеальных.

Религиозные ожидания иудеев сливались с политическими мечтами. Обширные слои народа жили мыслью о царстве будущего, верой в великого национального вождя, который соберет всех рассеянных и заблудших овец и явится окруженный сиянием победы, чтобы дать торжество своему народу за его страдание и долготерпение. Царя народного мыслили как потомка славного Давида. Будущий возродитель народа звался Мешиа, в греческом произношении Мессия, а в переводе на греческий язык это и есть Христос, т.е. помазанник, царь божией милостью!

Образ Мессии, или Христа, нельзя назвать ни чисто-политическим, ни чисто-религиозным; то и другое здесь находится в своеобразном сплетении. Некоторое понятие о том, что такое было ожидание Мессии, дает современная вера мусульман в Махди, пророка божия, который возродит в себе силу Мохамеда и соберет правоверных в торжествующее царство святых.

Мессиянизм представлял прямую угрозу господству римлян, тем более что он питался зарубежной пропагандой. Воинственный Христос, казалось, мог бы составить из иудеев имперских и вавилонских сильное, богатое государство, выбросить римлян вовсе из Азии и отнять у них Грецию и Египет. Вместо того, чтобы устранить эту опасность сближением с иудейством, смягчением острых разногласий, римляне делали все, что было способно раздражить иудеев, все, что показывало наглядно пленение иудейского народа.

Одно явление весьма характерно. В Палестине особенной популярностью пользовались разбойники, гнездившиеся на скалистых выступях в Галилее и в Запруданье. Отчаянные люди набирались из разорившихся крестьян и ремесленников, разорение же принесло с собой сначала управление Ирода, вассала римлян, а потом непосредственное господство Рима. Они вознаграждали себя набегами на мирное население. И все-таки в народе считали их героями, в них видели святую дружину божию, будущих солдат Мессии. Постепенно из разбойничьих банд выросли отряды революционеров, среди них стали появляться талантливые, энергичные вожди, например, Иуда Галилеянин, в конце правления Августа развернувший впервые знамя демократической республики. В 66 году по Р. Х. при императоре Нероне

революционные дружины надвинулись на религиозный центр, Иерусалим, и с этого началось великое восстание. Воинственные националисты были столь же врагами римлян, как и своей собственной аристократии священников, сидевшей около храмовых сокровищ. Священническая партия, саддукеи, как она тогда называлась, стояла, в сущности, ближе к римлянам, чем к демократическим и националистическим элементам собственной страны, которые в свою очередь делились на умеренных—фарисеев—и крайних—зелотов. Иудейский мир переживал настоящую революционную эпоху, когда внутри страны разгорается борьба классов и фракций, появляются секты и союзы, сталкиваются резко противоположные программы и происходит взаимно-истребительная борьба.

С точки зрения чисто-военной иудейское восстание не представляется очень крупной борьбой. Ни Палестина, ни Евфрат, ни иудейские колонии не могли выставить большой армии. Римляне изолировали мятеж, заперли инсургентов в нескольких крепостях, подавили движения в провинциях массовой резней иудеев и закончили сокрушение революции осадой Иерусалима, сожжением и разрушением города и храма. Но если принять во внимание горячее участие всех иудейских колоний в национальном деле, те бедствия, которые обрушились на иудеев в виде отщепенца за их сочувствие и за быстро подавленные попытки идти на помощь инсургентам, то эпоху восстания 66—73 гг. надо признать великим кризисом всего иудейского народа.

Воинственный мессианизм далеко не был сразу уничтожен. Шестьдесят лет спустя после подавления первого восстания началось второе. Наши сведения о нем без сравнения слабее, чем о первом, которое нашло обстоятельного летописца и очевидца в лице Иосифа Флавия. Мы знаем только, что вождь восстания Симон, прозванный Баркохба, т.е. сын звезды, вызывал великие надежды в своем народе. Многие признали его Мессией (по-гречески Христом), среди них ученые, иудейская интеллигенция. Но и эта попытка была сломлена: римляне истребили беспощадно все воинственные элементы народа, воспретили иудеям ступать на почву Палестины, стерли с лица земли всякую память об Иерусалиме и великом его храме.

В двух крупнейших катастрофах рушилось церковное единство иудейского народа, погибла иудейская теократическая держава. Отчасти ее уничтожили римляне, видя в ней очаг мессианизма, отчасти свои—в озлоблении междоусобной войны и революции. Надо иметь в виду, что революционеры были весьма непочтительны не только к порядкам управления

первосвященников, но и к самой святыне. Вступив в Иерусалим, они опрокинули все традиции церкви, изменили церковную конституцию, нарушили священную преемственность избрания в высший сан. Храм они сделали крепостью, обогрели его кровью защитников, осквернили грудами трупов, что в глазах правоверных было величайшим святотатством.

Не одни только революционеры выказывали вражду или равнодушие к религии храма. Рядом с революцией, которая готовила разрушение иерусалимской святыни, развились направления мирные и созерцательные, которые также отклонялись от храма, от связанных с ним обрядов и иерархии по мотивам внутреннего свойства. Иосиф Флавий описывает нам братские общины ессеев, которые не делали жертвоприношений в храм, совершали омовение и молились под открытым небом перед восходом солнца, жили коммунально в очень умеренном быту, соблюдали величайшую чистоту телесную и душевную.

В евангелиях ессеи ни разу не упомянуты, но есть некоторые черты, напоминающие их обычаи и понятия. Дейтельность Иисуса начинается со священного омовения, крещения текучей водой. Он любит молиться уединенно перед восходом солнца. Сам он и община его ближайших учеников «не имеют, куда голову преклонить», живут каким-то идеальным товариществом. В нагорной проповеди Иисус излагает требование повышенной аскетической морали, в духе строгой практики ессеев. Иисус с апостолами идут, правда, в Иерусалим, как бы исполняя обычное богомолье; но при этом они не собираются приносить жертвы в храм, и их общее отношение к храму близко к равнодушию: такой характер носит противоположение великолепному архитектурному чуду, сложенному человеческими руками, нерукотворного храма будущего (ев. Марка, XIV, 58). Есть таким образом основание думать, что ессеи были предшественниками христианства.

По всей вероятности, задолго до катастрофы храма направление духовной религии, чуждавшееся обрядов, было широко распространено. Оно, может быть, преобладало в провинциальных ответвлениях иудейской церкви, особенно там, где иудеи встречались с греческими сектами. В иудействе готовилась реформация, переворот в строе и понятиях. Этой перемене не суждено было осуществиться мирным образом; в борьбе религиозных партий оказался сильный возбудитель в виде мессанизма, национального движения, которое обострилось благодаря давлению Рима. Римляне одолели иудейский национализм, и иерусалимская церковь подверг-

лась разрушению. Иерархический строй ее вместе с грандиозным богослужением исчез без остатка. Сохранились прежние партии, но в их среде наклон в сторону религии духа еще усилился. Из этих течений, по преимуществу принадлежавших к прежней оппозиции, стала слагаться новая церковь. Тот же самый удар, который повел к крушению национально-религиозного идеала, заставил оппозиционные группы сплотиться; те же самые события, которые составляли разгром старой церковной державы, скрепили разрозненные общины религиозных искателей в один великий союз.

Наша задача состоит теперь в том, чтобы изучить, как все эти явления жизни отразились в литературе.

### III.

#### Первые шаги христианской литературы.

У нас есть подробный рассказ об иудейском восстании Иосифа Флавия, полный драматических подробностей, но, к сожалению, это произведение ренегата, перешедшего на службу римлян и порвавшего со своим народом. Он не только ничего не знает о настроениях разгромленного иудейства, он органически не может понять их чувства и мысли. Нам приходится восстанавливать круг впечатлений и вновь слагающихся понятий общества послереволюционного периода по слабым намекам, разбросанным в самой новозаветной литературе.

Мессианиззм захватил, повидимому, широкие слои иудейского иудейско-греческого общества. В Малой Азии, Сирии, Египте, Месопотамии, Вавилонии единоверцы с замиранием сердца переживали страшную драму, которая развертывалась в Палестине. Многие хватались за оружие, чтобы спешить на помощь героическим борцам, сражавшимся за свободу. Во всех областях Востока кипели восстания местных иудейских дружин.

В трагической гибели мессианизма исторический рок оказался неумолим к иудейству. Помочь осажденному Иерусалиму не было возможности. Долго не имелось о нем никаких сведений. Но вот стали прибывать беглецы, эмигранты, свидетели катастрофы. Горе народное не поддавалось описанию! Какие ужасы творили беспощадные завоеватели на святых местах, в какую мерзость запустения привели они храм! Вероятно, картины крови и убийства, бессмысленного истребления богатств и художества создали разные формы психического расстройств.

Так можно себе объяснить обилие бесноватых в евангелиях, всех этих одержимых нечистыми буйными демонами, которых исцеляет Иисус.

В одном, случайно уцелевшем, произведении эпохи иудейский националист ропщет на бога: «Разве не сказал ты,

великий Боже, что из-за нас ты создал мир? О других народах, происшедших от Адама, не сказал ли ты, что они—ничто и подобны плевку, и не сравнил ли ты их с каплей на ведре? А теперь, о Господи, именно те народы, которых ты оценил ни во что, начали над нами властвовать и раздавили нас. Если мир создан ради нас, почему же мы не владеем миром?»

Такие наивно-патриотические голоса должны были скоро смолкнуть в общем хоре плачущих. Дольше удержались рассказы о геройствах великого восстания. Жадно ловили сочувствующие все подробности защиты родины, примеры стойкости борцов. К сожалению, здесь очень мало сохранилось, но и в обрывках того, что дошло, можно узнать интерес к мученикам, погибшим за святое дело. Вот, например, что передает Иосиф Флавий, который, при всем нерасположении к революционерам, не может им отказать в мужестве и уменьи умирать. Он рассказывает о молодых людях, принадлежавших к священной дружине смерти, последнюю кучку которых захватили, во время их бегства, в верхнем Египте.

«Их твердость, их безумие, или если кому угодно назвать это величием души, вызвали общее изумление. От них хотели только, чтобы они признали римского кесаря государем. Но никакие пытки, мучения и уродования тел не могли ни одного из них склонить к такому признанию. Все остались непреклонны, как будто их тело стало нечувствительно к мукам и огню, а душа точно радовалась страданиям. Более всего поражались свидетели поведению мальчиков; из них также ни одного не удалось склонить к признанию кесаря государем. В такой мере сила их смелого духа превосходила телесную слабость».

Перед нами прототип христианских рассказов о мучениках. Почти в тех же чертах историк церкви Евсевий передает суд над св. Поликарпом: христианского подвижника подвергают всевозможным мукам, под конец испытанию огнем, и все для того, чтобы заставить его признать кесаря государем или поклясться счастьем кесаря, тогда как мученик признает лишь одного государя, Христа. Из сходства между рассказами Флавия и Евсевия мы можем заключить, что некоторые акты суда над мучениками христианства относятся к эпохе восстания, представляя процессы над действительным или мнимым сторонником революции. Христиане потом удержали память об этих жертвах мести победителей; они охотно изображали героев восстания, как своих предшественников или первых пионеров своего дела.

Если так велик был интерес к палестинской революции, понятно, что в среде провинциального иудейства должны

были возникать манифесты, воззвания, памфлеты бурной эпохи. Таких произведений было особенно много в период между первым и вторым восстанием. Пока не потухла надежда на национальное возрождение, картины предстоящего разгрома врага имели самое широкое распространение. Разбитые, но непокорившиеся иудеи упивались видениями гибели орла, т.-е. Рима. «Тело орла сторгит страшным пожаром». Рим изображают также великой блудницей вавилонской, которой служат купцы, князья мира сего. «Ангел бросит грешный Вавилон с большим камнем на шею в море, он погибнет без следа, и даже место его на земле потом не будет видно». Избавитель, «лев из племени Иуды», царь царей земных, придет в облаках; у него огненные глаза. «Откроются небеса, и будет зреться престол Всевышнего».

Мы называем теперь всю эту литературу воззваний и пророчеств апокалипсами, откровениями. Их соединяет одна общая черта революционного настроения. Людям кажется, что их время составляет преддверие к последнему периоду на земле, к предстоящему суду божию. События, происходящие ныне, так страшны и необыкновенны, что род человеческий их не выдержит.

В одной из апокалипс (так наз. 4-й книге Эзры) говорится: «После 400-летнего царствования мой сын Мессия, так сказал Господь, умрет, и все, что дышит на свете, и сам мир вернется к старому безмолвию, как было вначале. Тогда поднимется новый мир. Земля, прах и преисподняя отдадут назад то, что было в их недрах (т.-е. произойдет воскресение мертвых). Откроется престол Всевышнего, и он начнет судить. Долготерпению и жалости придет конец, останутся лишь суд и правда, а за ними последует исполнение приговора».

По этому отрывку видно, что воинственный мессианизм еще не исчез. Еще верят массы, что страдание народа, гибель храма и священного города нужны, как последние жертвы перед его торжеством.

Впечатления бурной, возбужденной эпохи национальных восстаний последовательно отложились в ранней христианской литературе. Рассеянные по всем областям империи иудейские и иудейско-греческие общины приняли в число своих документов одно из произведений духа мести, настоящий памфлет послереволюционной эпохи—«Откровение» Иоанна. В каноне новозаветных книг апокалипсис Иоанна занимает крайнее место на конце, как будто бы оно возникло позже всех других. На самом деле оно первое по времени увзвения христианской средой. Оно старше евангелий. Правду говоря,

в нем нет ничего христианского, кроме приставок в начале и в конце. Позднейшие христиане ясно сознавали чисто-иудейский характер этой книги, ее прямую связь с революцией, и многим эти черты «Откровения» не нравились. Вот почему «Откровение» Иоанна было самым спорным сочинением среди Нового завета. Очень авторитетные голоса в церкви вовсе не хотели признавать его, считали еретической, лживой книгой.

Новые настроения должны были появиться после второго восстания. Теперь пришлось похоронить все надежды на близкое торжество. Мрачное безмолвие воцарилось в Палестине и других странах иудейской речи и веры. Невольно вспоминается поэтическое выражение одной из апокалипсис о великом вожде иудейского народа, Моисее: «его могилы никто не знает, но его могила весь мир». В этих словах точно эпитафия к смерти нации и к посмертной тоске ее рассеянных бурей потомков. Под влиянием новой и окончательной неудачи мессианизм переродился. Его революционный, национально-патриотический тон ослабел и поблек. Люди отказались от веры в немедленное исполнение своих желаний, прониклись долготерпением.

Снова и снова они ставили себе мучительные вопросы: если Мессия, предсказанный пророками, ожидаемый всем народом, все-таки должен явиться, то как отнестись к событиям неудачного восстания? Кто же такие были герои революции, в которых многие хотели видеть Мессию или Христа? Значит, истинного Христа еще не было? Значит, выступали только его противоположности, его обманчивые подобию, были только Антихристы? Или, может быть, его неверно представляли себе, его рисовали слишком грубыми плотскими чертами? Или его приход был тайный, он уже являлся, но остался скрытым от глаз непосвященных, его отверг свой народ, и предстоит новый сияющий его приход во славе?

Вот вопросы, над которыми бились мыслители, проповедники, учителя и публицисты иудеев и греков, принявших основы иудейской веры. В своих мыслях и веканиях они постоянно обращались к рассказам беглецов, странствующих апостолов, приходивших из Палестины, эмигрантов, составлявших обломки великой эпохи Страстей народных. Они выспрашивали и доискивались, не запомнят ли очевидцы выдающейся личности среди палестинских деятелей, не пришлось ли им встретить вождя или проповедника, обладавшего волшебными качествами, но скоро погибшего, не было ли такой смерти, такой казни, в которой замучили великого

праведника? Дальше они так рассуждали: если мы ошиблись, если мы неверно представляли себе ход вещей, не пропикли в замысел божий, то ведь он, великий бог, который с самого начала руководил избранным народом, знал все наперед. Он предугадал устами своих пророков, как все должно произойти. Итак, надо искать в словах пророков, и тогда найдешь намеки и знамения, на которые, может быть, до сих пор мало обращалось внимания.

Мы подошли к моменту возникновения евангелий. Составители их старались, во-первых, отыскать Мессию среди событий времени и показать, что он был именно таким, как его предугадали пророки; во-вторых, связать этот новый образ Мессии-страдальца, имеющего притти во второй раз во славе, со своими прежними верованиями и чаяниями. Искусство евангелистов состояло в том, что они сумели сплести элементы, принадлежащие разным эпохам и настроениям, в одно неразрывное целое, дать своим современникам цельный великий образ.

Нам теперь на расстоянии эпох видно, что в евангелиях соединены две глубоко различные религиозные личности, одна именуемая Иисусом, другая—Христом. В рассказе евангелиста они довольно заметно разграничены. Вплоть до въезда в Иерусалим или даже до захвата великого учителя слугами первосвященника не упомянуто почти ни одной черты, которая бы относилась к Мессии, к Христу. О чем говорится в этой большей по размерам части Евангелия?

Перед нами встает образ очень мягкий, задушевный, близкий сердцам простых людей. Не даром обстановка его деятельности—провинциальные городки, группы ремесленников, рыбаков, виноградарей, берега небольшого озера с идиллическими берегами. Учитель всем доступен. Его осаждают своими домашними заботами, болезнями и душевными запросами. Ему приносят детей, его просят исцелять недужных, разбирать споры, отвечать на хитро-простодушные богословские вопросы. У него нет пристанища; он питается иногда колосьями с поля, мимо которого проходит. Сам он живет легко и свободно; и его завет окружающим—не копить, не делать запасов, не зарывать сокровищ в землю, а брать пример с птиц небесных и с лилий полевых, при чем совет сопровождается милой шуткой, что ведь цветы ярче и красивее, чем был Соломон во всем своем великолепии.

По этим мелким, незабываемым, мастерски вплетенным черточкам можно узнать, как рисовали себе идеального учителя и святого патрона в религиозных кружках, слагавшихся по греческому образцу. Тут конкретная жизнь, бытовые пере-

живания вторгаются в поучительную повесть. Иногда трудно разобрать, где списан портрет с любвеобильного, деликатного, спокойного-находчивого руководителя общины и где начинается молитва к своему святому, к своему покровителю, который ни на шаг не оставляет верующего, идет за ним далеко во все странствования и способен бесконечно искать заблудшую овцу.

Повидимому, автор хотел слить то и другое, реальность и молитвенный идеал. Он внушал своим читателям веру в то, что по временам ангел или бог спускается на землю и принимает вид реального учителя или старшего руководителя общины; долго живет он на земле неузнанный, и лишь после смерти «друга людей» открываются глаза у окружающих. Автор старался напомнить, что иные из верующих переживали встречи в роде той, которая рассказана в ев. от Луки, гл. XXIV, 13—32.

Эта сцена—перл всего евангелия. Два ученика встретили воскресшего Иисуса на дороге в Эммаусе. Не узнав любимого учителя, они вступили с незнакомцем в беседу, сообщили ему свое горе о гибели великого праведника, выслушали его утешения, попросили его зайти к ним и вкусить их трапезы. Лишь когда он ушел, вспомнили они, как он знакомым жестом преломлял хлеб, вспомнили его манеру излагать поучения и сказали себе: «разве не горело в нас сердце, когда он шел с нами по дороге, когда он объяснял нам Писание?»

Встреча в Эммаусе не вполне подходит к цели евангелиста. Ведь в последней главе он хочет привести доказательства того, что воскресшего Иисуса действительно видели, а рассказывает вместо того, как два неизвестных ученика лишь спохватились, когда уже было поздно, что имели встречу с любимым учителем; во всяком случае они, столько раз его видевшие, не узнали его. Очевидно, существовала повесть, красивая и задушевная, которой хотел воспользоваться автор 3-го евангелия для доказательства воскресения Иисуса из мертвых, но которая оказалась сильнее его тенденций и заняла свое особое, подобающее ей место. Смысл ее состоял в том, что в жизни мы проходим, не замечая, чудесные моменты; мы живем годы с человеком, и только когда судьба отнимет его у нас, мы догадываемся, что жили, встречались с ангелом небесным, который преломлял с нами хлеб, спасал нас, когда мы тонули, исцелял от мучительной болезни, успокаивал растерзанное горем сердце, просвещал наш затемненный ум.

В том же загадочно-мягком стиле изображена другая сцена—последней трапезы Иисуса с учениками. Только он один

знает, какова ожидающая его судьба. Спутникам, друзьям его неизвестно будущее: они собираются для обычного пасхального ужина, выбирают место для него по указанию учителя, они спорят за столом о первенстве, кто из них выше всех. И только потом они откроют, что с ними был осужденный на гибель, что он завещал им обычай вспоминать о их встречах, что он был небесный житель, лишь на краткое время дарованный им богом.

Едва ли евангелисты впервые придумали этот литературный образ. Он сложился, вероятно, гораздо раньше в среде, обладавшей определенными привычками, понятиями и настроениями. Вплоть до нашего времени исследователи делали одну и ту же ошибку, предполагая в основе евангельского образа просветителя и друга людей реальную фигуру, гениального учителя, который поразил воображение ближайшего своего круга и послужил таким образом прототипом евангелия. Но если бы действительно таково было происхождение евангельского рассказа, в нем имелось бы гораздо больше индивидуального, остались бы какие-нибудь частности и мелочи, были бы намеки на личные переживания ближайших его спутников. Ничего подобного в евангелиях нет. Дан лишь очень общий облик бесконечно доброго и мудрого руководителя, который сам не имеет никаких слабостей; таких людей не бывает; так мыслят только ангелов небесных. Иными словами, образ этот принадлежит целиком религиозному воображению.

Вдобавок ко всему в имени галилейского учителя нет почти ничего реального. Он зовется Иисус, без прибавления, чей он сын, и без всякого прозвища. А Иисус—самое обычное иудейское имя, более распространенное, чем у нас Иван. Иисус, кроме того, имя для иудейства символическое, нарицательное. Иисусом звался наследник Моисея, великий вождь, который привел народ израильский из египетского плена в обетованную землю. В имени Иисусе заключалось понятие высшего руководства, спасающей боговдохновенной силы. В евангелии от Матфея так мотивировано нарицание будущего сына Марии и Иосифа Иисусом: «она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет народ свой от его грехов» (I, 21).

Наконец, стоит отметить, что в Новом завете имя Иисус появляется в разных соединениях. В «Деяниях апост.», XIII, 6, упоминается по поводу поездки апостолов на о. Кипр волшебник и лже-пророк, иудей Вар-Иисус. Согласно ев. от Матфея, XXVII, 16—17, Пилату предстоит отпустить, ради большого праздника, одного из осужденных преступников.

У него под стражей закованный в цепи Иисус с прозвищем Варавва. Он спрашивает народ: «кого вам отпустить, Иисуса Варавву, или Иисуса, называемого Христом?»

На основании Деяний мы уже отметили, что имя Иисуса, как святого патрона, было весьма популярно в религиозных кружках иудейства, рассеянных по провинциям. Завязка христианства заключалась в том, что Иисуса стали признавать Христом, т.-е. Мессией. Обе личности, первоначально совершенно чуждые друг другу, были отождествлены.

Это отождествление произошло именно вследствие того переворота в понятиях, который был выше описан. Военственный мессианиззм с его верой в непосредственное торжество на почве самого Иерусалима рушился. Казалось, бог послал новое испытание на свой народ, и его избавление отложено на неизвестное будущее. Самое тяжелое в пережитых бедствиях состоит в том, что среди пролитой крови мучеников погиб, неузнанный почти никем, величайший пророк своего народа. Мессия приходил, но не для сияющего вступления на престол, а для страданий вместе со своим народом и за свой народ.

Таков ход идей в самых общих чертах. На вопросы верующих, как это могло случиться, каковы подробности страданий неузнанного Мессии, что он учил и о чем предсказывал, ответом служат евангелия.

Тому, кто знает евангелие лишь по урокам закона божия или по церковным впечатлениям, различия между евангелистами не кажутся существенными: дошедшие до нас четыре рассказа представляются одним целым, внутри которого отдельные повествования лишь дополняют друг друга. Немного дальше ушли те, кто получил литературное образование, кто читал Штрауса, Ренана; разве что образовалось у них понятие о различии между синоптиками и четвертым евангелием, привычка считать первых более близкими к первоначальным источникам.

Лишь при внимательном анализе документов раннего христианства, при разборе их, как литературных произведений, обнаруживается, что у каждого из евангелистов свои особые характерные черты. Матфей склонен к умствованиям в духе раввинов, любит поражать иудейской ученостью, он более всех других националист. Марк хочет подействовать на воображение повестью о чудесных делах Иисуса, он главным образом рассказчик. У Луки более всего лиризма; он склонен к сентиментальности, он хочет выдвинуть свое филантропическое чувство к бедным. У каждого свои подробности, своя

манера изложения. Но для всех обязательны известные эпизоды, известная последовательность. Одно совпадение у всех трех синоптиков особенно поразительно. Все они предсказывают устами Иисуса судьбу Иерусалима (Мтф. XXIV, Марк. XIII, Лука XXI). Вот как это место звучит в евангелии Марка:

«Когда вышел (Иисус) из храма, говорит ему один из учеников: смотри, какие камни и какво строение! А Иисус ответил им: видите ли великое строение? Не останется тут камня на камне, который бы не разрушился. Когда же он сидел на Масличной горе против храма, спросили его наедине Петр, Иоанн, Иаков, Андрей: скажи нам, когда это случится, и какво предвестие начала? Иисус ответил: смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. Многие придут, принявши имя мое, скажут, что «я есмь», и многих введут в заблуждение. Когда же услышите о войне и военных слухах, не смущайтесь. Необходимо, чтобы все это случилось, но это еще не конец. Ибо поднимется народ против народа, и царство против царства, и будет землетрясение в разных местах, будет и голод.

Все это лишь начало бедствий. Берегитесь. Предадут вас в суды и собрания; и будут вас звать на суд начальников и царей из-за меня, требуя вашего свидетельства. Но сначала должно быть проповедано евангелие всем народам. Когда они вас поведут и предадут властям, не заботьтесь о том, что вам сказать; что будет вам внушено в данный час, то и скажете. Ведь это будете говорить не вы, а святой дух в вас. И предаст брат брата на смерть, и отец ребенка, и восстанут на родителей и убьют их. И будете вы ненавистны всем народам из-за имени моего. Но тот, кто выдержит до конца, спасется.

Когда увидите мерзость запустения, где оно быть не должно—читающий (это) пусть вникнет в смысл—тогда все, кто есть в Иудее, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть не спускается вниз и не входит в дом, чтобы унести что-нибудь, что есть в доме. Кто окажется в поле, пусть не возвращается за платьем своим. Горе в те дни беременным и кормящим грудью. Молитесь, чтобы бегство не пришлось зимой. Ибо будет великая печаль, какой не было с начала мира и по сих дор, и каковой никогда не будет. И если бы эти дни не сократил Господь, не уцелела бы никакая плоть; а будут они сокращены ради немногих избранных. И если тогда кто-нибудь скажет вам: смотри, вот Христос, или вот, не верьте ему. Поднимутся лжепророки и покажут знамения и чудеса, чтобы, как только возможно, обмануть избранных. Смотрите, я предрек вам все это. Но в эти дни после вели-

кого горя помрачится солнце, и луна не будет давать свет, и звезды попадают с небес, и основы небес повернутся.

Тогда увидят Сына человеческого идущим в облаках небесных в великой силе и славе. И пошлет ангелов своих и соберет избранных со всех четырех ветров, от края земли до края небес. Учитесь из притчи о смоковнице: когда наливаются ее ветви и распускаются листья, вы узнаете, что близко лето. Так и тут, когда вы увидите все это, вы узнаете, что (события) близко к дверей. Аминь, говорю вам: *не умрет это поколение, пока не совершится все*. Небо и земля прейдут, но не пройдут слова мои. О дне и часе этом никто не знает, даже ангелы небесные, даже и Сын, один лишь Отец.

Для внимательного читателя евангелий это место не может не казаться поразительным. Оно как будто совсем не вяжется с остальным изложением. Оно прерывает рассказ о событиях и говорит о том, что предстоит. Оно приподнимает завесу над будущим и является откровением, апокалипсисом. Поэтому в науке принято называть его малой апокалипсисом по сходству с большой апокалипсисом Иоанна. Весь отрывок составляет явно чужеродное тело в евангелии. Тем более замечательно, что евангелисты не могут без него обойтись; для них он имеет первостепенное значение.

Какой смысл имело включение апокалипсиса в евангелие? Мы находим здесь советы верующим, как держать себя во время войны, как поступать в случае преследований, что говорить на суде. Эти воззвания к единомышленникам, призывы к терпению, утешающие слова вдвинуты в плач об Иерусалиме, в описание великого национального горя, неслыханных бедствий иудеев в эпоху разгрома страны. А эти страницы в свою очередь, повидимому, написаны скоро после подавления восстания, когда многие ждали, что аналогичные события могут повториться. «Будут великие бедствия, но это еще не конец». И произойдет все очень скоро. «Не умрет это поколение, пока не совершится все».

Написавший эти страницы автор недавно только пережил тяжкий кризис; ему кажется, что к кровавой бойне, к столкновению народов примкнули физические бедствия, страшные землетрясения и голод. Он — горячий патриот; до последней минуты он не считал возможным покидать почву родной страны, и только когда положение стало безнадежным, решил он бежать. Затем видна еще другая сторона в убеждениях автора малой апокалипсиса. Он — мессианист, и притом очень исключительный. Среди многих, кто будет называть себя Мессией, помазанником Божиим, главою теократии, он готов признать лишь одного истинного; все остальные — лжепророки.

Перед нами—документ революционной эпохи. Евангелисты-синоптики усваивают его и вводят в свой текст по очень важному для них соображению. Ведь только таким путем и можно было показать, что сюжет евангелия тесно связан с моментом национального страдания и возрождения; только таким способом евангелисты могли вдвинуть своего героя в эпоху великой национальной драмы. Очень характерно, что автор четвертого евангелия, который уже далек от национализма, у которого Иисус не Мессия, а воплощенный разум божий, опускает вовсе малую апокалипсу. У него нет сцены, где Иисус смотрит с учениками на великолепный храм и предрекает гибель здания. Для четвертого евангелиста храм есть символ тела господня.

Совсем не то синоптики, которые сами полны национализма и пишут для общества, проникнутого национальными воспоминаниями. Поэтому они и усваивают апокалипсу, как бы перекидывая мост к другому берегу. Мало того, они стараются еще провести новую мысль, озарившую иудейские и иудейско-греческие общины. Плач о великом народном бедствии у синоптиков помещен в определенную обстановку перед рассказом о страстях господних. Иисус сам предсказывает судьбу города, храма и своих последователей. Воззвание к пострадавшим от великого национального бедствия влагается в уста первого мученика. В этом молчаливом сопоставлении скрыта многозначительная мысль. Евангелист как бы хочет сказать: гибель невинного праведника—есть преддверие и знамение предстоящего великого национального горя. Умирает лучший представитель своего народа, носитель его идеалов.

То, что у синоптиков еще только робко намечено, в четвертом евангелии высказано более откровенно, но вложено в уста злодею драмы. Первосвященники и фарисеи, собравшиеся на совет, недоумевают, что им делать: «этот человек (Иисус) творит слишком много знамений. Если мы оставим его в покое, все поверят в него. Тогда придут римляне и возьмут у нас землю и людей. Но один из них, Кайафа, который был в этот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете и ни о чем не думаете. Лучше нам, чтобы умер один человек за народ, чем чтобы весь народ погиб. Но он говорил это не от себя, а потому, что был в тот год первосвященником, он предсказал, что хочет Иисус умереть за свой народ и не только за народ, но и для того, чтобы собрать воедино детей Божьих, которые рассеялись».

Понемногу перед нами открывается работа мысли, происходившая в тех кругах, для которых писались евангелия. Эти

круги восприняли впечатления иудейской революции и сохранили с нею связи, хотя многое, что занимало участников восстания, было забыто в эмиграции и в среде провинциальных общин. Они остались в оппозиции к завоевателям. Своего святого, своего воплощенного бога они старались представить первой жертвой террора, первым мучеником, пострадавшим за свой народ. Четвертый евангелист помогает нам понять синоптиков. У него уже нет самостоятельных исканий, нет и близости к непосредственным источникам. Он составляет свои суждения по материалу, собранному другими. Иногда он по-своему перерабатывает данные синоптиков, иногда делает из них выводы, доканчивает то, что они наметили и не высказали. Тем, как он истолковал синоптиков в вопросе о смерти Иисуса, он показывает, что мы верно их поняли. «Иисус должен умереть за свой народ и не только за народ, но и для того, чтобы собрать воедино детей Божиих, которые рассеялись» — вот вывод, сделанный четвертым евангелистом из построений своих предшественников.

Если бы мы теперь спросили, в чем же заключается главный знак связи ранних христиан с иудейской революцией, то пришлось бы ответить, что основной символ лежит в имени Христа; решающий вывод, на котором построена композиция евангелия, состоит в том, что почитатели Иисуса соединили своего бога-покровителя религиозных союзов с Мессией. Мы так привыкли сливать эти два образа в одно лицо, называть это лицо «Иисус Христос» единым духом, что никому теперь и в голову не приходит подумать, какой трудной работы стоило это отождествление, в какой мере не сразу оно далось, с какими препятствиями боролись евангелисты. Может быть, те, кто никогда не изучал текста евангелий, не подозревают, насколько редко там появляется Христос, до какой степени преобладает Иисус и как неуверенно связаны оба лица друг с другом.

В евангелии от Марка имя Иисуса встречается 80 раз, имя Христа всего 7 раз. Собственно евангелие рассказывает об Иисусе. Иисус творит чудеса, учит народ, предсказывает свою смерть, переходит из Галилеи в Иерусалим, терпит мучения и воскресает. Не надо думать, что будто Иисус носит более человеческие черты, а Христос — более божеские. Такого различия нет. У Марка, V, 7, Иисус назван «сыном высшего Бога». В самые ответственные, возвышенные моменты речь идет об Иисусе: так, напр., при торжественном въезде в Иерусалим, при допросе у первосвященника, при распятии. В гл. XVI, 6 ангел говорит женам-мироносицам, пришедшим ко гробу: «вы ищите Иисуса распятого?».

Для того, чтобы дать себе отчет в том, какой смысл имеет имя Христа и ради чего вводится оно в евангелие, необходимо в отдельности пересмотреть те 7 мест, где у Марка упоминается это имя.

1. В первой главе Христос стоит в заголовке. «Так начинается евангелие Иисуса Христа, сына Божия». Это упоминание весьма невыразительно. Оно только показывает намерение автора евангелия соединить два лица в одно. Каким способом это делается, мы увидим только из следующих мест.

2. В первых семи главах Христос не упоминается. В гл. VIII, 27—33, о Христе говорится в следующей своеобразной форме. «По дороге (в Цезарею Филиппи) Иисус спрашивает учеников: кем зовут меня люди? Они отвечали, что иные Иоанном Крестителем, другие Илией, иные одним из пророков. Он же спросил их: а вы кем меня считаете? Петр ответил: Ты Христос. И запретил он им говорить об этом кому-либо. И начал научать их, что Сыну человеческому должно много пострадать и быть осуждену старейшинами, архиереями и книжниками и быть убитым и после трех дней воскреснуть. Эти слова он сказал открыто. А Петр отвел его в сторону и стал удерживать. Но Иисус обернулся и, взглянув на учеников (в свою очередь), погрозил Петру, сказавши: «уйди от меня, сатана; потому что ты думаешь не о божеском, а о человеческом».

3. В ответ на споры учеников между собою, кто из них первый, Иисус говорит (IX, 41): «кто вас напоит водою во имя того, кто вы—Христовы, тот не потеряет своей заслуги».

4. Во время беседы во храме Иисус спрашивает окружающих (XII, 35—37): «как это говорят книжники, что Христос—сын Давида? А Давид сказал в святом вдохновении: говорит Господь моему господину, сядь по правую сторону, чтобы я положил врагов к ногам твоим. Сам Давид называет его господином, каким же образом он его сын?»—Ответа нет, богословская загадка остается неразрешенной.

5. В картине падения Иерусалима, так наз. малой апокалипсе, говорится (XIII, 21): «берегитесь; вам будут говорить, смотрите, вот Христос; не верьте, будет много лжепророков».

6. Происходит суд над Иисусом (XIV, 55—64). Судьи стараются найти тяжкие обвинения, чтобы добиться казни. Выступают лжесвидетели, между прочим приписывающие Иисусу слова о том, что он разрушит храм и опять воздвигнет его в три дня. Но их показания не сходятся, и Иисус молчит, не дает ответа. Тогда первосвященник, как бы потеряв терпение, задает обвиняемому вопрос, носящий характер вызова: «ты ли Христос, сын благословенного?» Иисус же ответил:

«Да, я; и вы увидите Сына человеческого сидящим по правую руку мощи и грядущим в облаках небесных». Первосвященник, разорвав одежду, воскликнул: какая нам нужда в свидетелях; вы слышали богохульство; что вы думаете? Все решили, что он достоин смерти.

7. У креста происходит следующее. Книжники и фарисеи издеваются над распятым (XV, 31—32): «других он спасал, себя не может спасти; вот он—Христос, царь Израиля; пусть сойдет он теперь с креста, чтобы мы видели и поверили».

Невольно поражает, насколько слабо обосновано утверждение, что Иисус и есть Христос. Ведь, согласно изображению евангелия, сам Иисус не распространял, что он Христос. Напротив, это—тайна, и когда Петр высказывает ее, Иисус немедленно строжайше воспрещает ее разглашать. Особенно любопытно представлен судебный процесс, в котором упоминается имя Христа. Сам Иисус молчит, не отвечает на обвинения; показания свидетелей не сходятся. Не видно, чтобы ему ставили в вину именование себя Мессией, Христом. Евангелист хочет сказать, что нельзя было ни на что сослаться, ни на одно собственное утверждение Иисуса; два раза повторено, что показания свидетелей не сходились, т.-е. не имели никакой цены, были чистыми выдумками. И вот первосвященник хватается как бы за последнее средство; своим вопросом он вызывает Иисуса и заставляет выдать тайну.

Иисуса вовсе не судят за предшествующие дела или за проповедь. Его осуждают внезапно за признание, которое он сделал при допросе, не желая смолчать на прямое к нему обращение.

В целом изображение процесса в евангелии производит странное впечатление. Евангелист как будто вводит суд над Иисусом в свое повествование только для того, чтобы обосновать, что Иисус есть Христос. Рассказ о процессе перед собранием священников и книжников составляет особый прием доказательства этого тождества. Неуверенность, которую при этом проявляет автор, показывает, что приходилось не только убеждать читателей, но убеждать и самого себя.

Лишь пристальное изучение евангелий открывает нам, сколько в основе их заложено душевной заботы, сомнений, мучительного искания истины, сколько жажды понять загадки эпохи, решить жуткие вопросы, связанные с национально-религиозной катастрофой. В той же мере больно было

переживать кризис, как было трудно найти из него идейный выход. В самом деле: если Мессия уже приходил, уже пострадал за свой народ, то что же ожидает верующих в будущем?

Посмотрим, как старается на это ответить евангелист. В малой апокалипсе сказано: «многие придут под моим именем... Вам будут говорить: вот Христос, или вот он — не верьте. Появятся лжепророки. Но это еще не все, это еще не конец». Т. е., иначе говоря, пришествие Христа во славе, пришествие открытое еще предстоит. Вера в Христа, в Мессию, не исчезла. До сих пор не было настоящего, Богом избранного спасителя народа. Те, которые объявляли себя народными царями в роде Баркохбы, погибли, значит, были Христы не настоящие. Но в то же время евангелист хочет видеть Христа в Иисусе. Однако Иисус погиб также. Почему же он истинный? Есть только одна возможность обосновать положение, а именно признавши, что в лице Иисуса Христос остался неузнанным. Его приход был предварительным, для небольшого лишь круга избранных. За ним последует настоящее пришествие во славе, и тогда будут торжествовать те, кто узнал его уже в первый его приход, те, которые были «первыми, его возлюбившими».

Евангелист Матфей пытается оправдать эту новую теорию прецедентами. В XVII главе рассказывается преобразование на горе, свидетелями которого были только ближайшие ученики: Петр, Иоанн и Иаков. Они видят Иисуса в обществе двух величайших и популярнейших пророков, Или и Моисея. Когда они сходят с горы, Иисус строго предсказывает им: «никому не говорите, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых». А ученики спросили его: «как же ученые богословы говорят, что сначала Илия придет?» Иисус подтверждает: да, Илия придет и все восстановит. Но я говорю вам: «Илия уже приходил и не узнали его, но сделали с ним, что хотели. Так и Сын человеческий должен будет от них пострадать». Ученики же поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе.

Евангелист хочет сказать: наша богословская теория вполне верна; теперь — эпоха новых воплощений древних пророков; Иоанн и Иисус составляют такие новые воплощения; но их не признали и они погибли. Эти пророки были вестниками возрождения, но народ не созрел для их проповеди, и они сами пострадали. Если когда-нибудь настанет настоящее возрождение, воскреснет и величайший из пророков и станет вождем и царем народа.

Если мы правильно объяснили ход мысли евангелиста, станет понятно и учение о *втором* пришествии. До катастрофы Иерусалима и до работы евангелистов приход Мессии, или Христа, считался единственным, один раз только возможным актом. В эпоху восстания многие, как это упоминается в апокалипсе, говорили: «вот Христос», или: «я—Христос». Но евангелист предостерегает: «не верьте, это—не настоящий Христос, это—лжепророки. Еще не наступил конец, истинный Христос впереди. Зато,—прибавляет он,—вы, заблуждающиеся, не заметили, что Христос уже раз являлся. Но он остался неузнанным, хотя ближайшие к нему люди догадывались, кто их учитель».

Следовательно, отрицание Мессии в настоящем, отрицание всех Мессий эфемерных, конкретных привело к признанию двух моментов и двух лиц—один в прошлом, не признанный в своем отечестве пророк, загубленный слепой толпой, лицемерными священниками и богословами; другой—в будущем, подобный торжествующему императору, живой для всех, кто не отчаялся в возрождении народа.

Мессианизм ко времени составления евангелий сильно переродился. Исчезла, выветрилась революционная вера в национальное возрождение, в близкое торжество избранного народа. Осталась слабая неопределенная надежда на будущее, остались поиски утраченных следов деятельности пророка, недавно погибшего. Можно представить себе беседы, в которых богоискателям, работавшим над составлением евангелий, предлагают вопросы: «скажите, являлся ли Христос раньше? В ком воплощался он и как звался он?» Евангелист должен был откровенно ответить: «мы хотим верить, что это наш Иисус!» Дальше мог быть задан новый вопрос: «расскажите все, что вы о нем знаете?» Подробным ответом служит композиция евангелия, в котором есть старательно, с любовью подобранные легенды, есть попытки найти исторические и богословские опоры, есть стремление нарисовать живой образ странствующего проповедника и целителя, есть, наконец, воспоминания о национальном горе и обещания будущего торжества.

Возникновение христианства нельзя себе представить без иудейской революции. Его движущая сила—впечатления великого восстания. Их следом, их свидетельством служит среди новозаветных книг откровение Иоанна, непосредственный обломок литературы восстания. В евангелиях такой связью служат малые апокалипсы, затем имя Христа и связанная с именем мысль, что Спаситель пострадал за свой народ.

По мере отдаления от эпохи революции эти мысли получают более отвлеченный характер. Христос из израильского Мессии становится собирателем рассеянной паствы божией. Ожидание его прихода во славе перестает быть непосредственным горячим чувством живых поколений, которые верили, что дождутся торжества. Оно превращается в ревность к пропаганде, к расширению союза верующих.

#### IV.

### Общественный строй раннего христианства.

В изучении ранней христианской церкви новоевропейское общество всегда интересовалось вопросами социального устройства первых общин. Литература ранних христиан говорит о примирении общественных слоев, о высоком подъеме морали. Растерзанное социальной борьбой, общество новейшего времени жаждет узнать, неужели действительно христианскому учению удалось привести к новому, счастливому строению общественной жизни? Иные современники наши, может быть, втайне готовы надеяться, что скоро наступят опять условия для общественного переворота подобного рода.

При решении этих вопросов мы встречаемся с двумя приемами, резко противоположными друг другу.

Один из этих приемов—старый, примыкающий к толкованиям самих основоположников христианства. Согласно этому взгляду христианство образует систему идей новых и несслыханных в мире. В момент их появления чистое, возвышенное мировоззрение охватывает измученное общество и перерождает его. На место узких, эгоистических влечений, на место замкнутости национальной, расовой, провинциальной, классовой становится широкое братское начало, соединяющее людей в одну вселенскую общину.

Ровняя всех перед богом, христианское учение устанавливает истинную демократию, истинную коммуны. Христианская церковь в своем первоначальном, неиспорченном виде и была идеальным социалистическим обществом.

Этот взгляд преувеличивает силу идей, делает из мировоззрения, из системы понятий какое-то волшебное царство, какую-то надзвездную мощь, которая, спускаясь на землю, совершает здесь несслыханные чудеса. Очень понятно, что этот взгляд вызвал сильнейший протест именно в наше время, в обществе, совсем не склонном верить в чудеса, в обществе, где могущественно распоряжаются материальные интересы. Современный нам материализм, напротив, объявил, что идеи

бессильны что-либо творить в жизни: идеи—только показатели наклона интересов, они, в свою очередь, созданы жизненными отношениями. Идеи—не что иное, как оправдания, которые слагает человек для оправдания своих поступков, но вовсе не направлятели его действий. Что же касается христианства, материалисты скажут: чтобы объяснить появление группы идей, составляющих сущность христианства, надо установить бытовые основы эпохи. Надо сначала определить общественное состояние тогдашней империи и тогдашней Иудеи, распределение и столкновение интересов; только тогда можно понять смысл и характер идей, определившихся в этом обществе.

Необходимо признать, что в общих воззрениях материалистов много правильного. Люди никогда не были ангелами, даже и в эпоху раннего христианства, а всегда были существами из плоти и крови, со слабостями, с увлечениями, с хорошими и дурными сторонами. Разумеется, историк христианства не должен отдаваться сантиментальному представлению, будто, под влиянием возвышенной мысли, массы людей способны перерождаться до неузнаваемости. Конечно, идеи не с неба взялись, а выработались в умах тех самых лиц, которые жили в известных условиях и вели борьбу за существование. Конечно, очень важно знать интересы, жизненную обстановку, профессию, достатки людей, принимающих новую веру. Все эти условия много и много объясняют в ходе мысли, в настроениях данного общества.

Соглашаясь с общими поправками материалистов, мы не можем, однако, следовать за всеми их приемами. Если мы перестали верить в чудесное происхождение идей, то это не значит, что мы должны поверить в их механическое происхождение. Совершенно верно, что мировоззрение и понятия людей зависят от их профессии, от бытовых условий, в которых они живут. Но это и все, что мы готовы признать. Материалисты же идут гораздо дальше: они сводят все идеи на противоположности классов; они говорят о классовом и профессиональном мировоззрении. По их мнению, у купца должны быть непременно такие-то идеи, у рабочего такие-то. Они пытаются всякий оборот мысли, всякий оттенок догмата объяснить профессией.

Но человек вовсе не такая несложная машина, как представляют себе материалисты, идеи—вовсе не прямой, непосредственный результат данной материальной среды! Одно дело—толчок мысли, может быть, направленный профессией, условиями работы, общественным положением, другое дело—ход мысли, ее многообразные разветвления, встречи с мыслями

других людей. Разумеется, напр., в факте принятия христианства норманским морским разбойником есть оттенки, внесенные его классовым положением. Не даром норманн представлял себе Христа воинственным вождем небесной вооруженной силы. Без сомнения, профессия здесь положила печать на мировоззрение; но нельзя из профессии вывести все догматы, все обряды. Как объяснить веру в троичного бога или причащение вином, если принять во внимание, что в Норвегии не растет виноград? Придется признать, что на север прибыли иностранцы и завладели умами: учение о троице—из далекой Индии, красное вино—с берегов Средиземного моря. Иначе говоря, пути культуры очень сложны, постоянно переплетаются между собою, идейные системы не укладываются в определенные ящики.

Идеалисты говорят о христианстве: это учение не от мира сего. Вопросы материального устройства, вопросы общественного строя для христиан были второстепенными. Эти люди слагали свою жизнь наскоро, временно, в ожидании близкого конца мира, в надежде на загробное блаженство. Сначала христианское учение должны были принять рабы, обездоленные, простолюдины, потом образованные, богатые, высшие классы.

Историк предложит путь исследования более медлительный, менее эффектный: пусть нам ответят на вопрос о социальных симпатиях и настроениях раннего христианства сами книги Нового завета. Что говорят они непредубежденному глазу? Посмотрим, к кому обращаются писатели и проповедники, какой круг читателей и слушателей они имеют в виду; что считается добродетелью и пороком среди них; какие слова, какие бытовые сравнения приходят им всего чаще на язык. Таким способом мы вернее выясним физиономию общества, воспринимавшего христианство.

На чем основывается убеждение, что христианство в начале было религией низших слоев общества, простолюдинов, бедных, обездоленных? Главным образом, на некоторых местах из евангелий, при чем их обыкновенно вырывают из общей связи. Так часто ссылаются на требование, которое ставит Иисус юноше, желающему следовать за ним: «продай все, что имеешь, и раздай бедным, чтобы приобрести сокровища на небесах». Очень обычна ссылка на обстановку жизни Иисуса и апостолов, которым некуда голову преклонить, которые, ничего не имея, живут легко, добровольными даяниями.

Особенно много выражений, благоприятных для бедных, даже возвеличивающих бедноту, можно найти у евангелиста

Луки. Характерно, что слова, которые у Матфея звучат: «блаженны нищие духом», у Луки обращаются в: «блаженны нищие» (Матф. V, 3, Лука VI, 20). Далее, у Луки есть совет, которого нет у других евангелистов: «когда делаешь ужин, не зови родственников и богатых соседей, потому что они будут тебе отплачивать; зови бедняков, расслабленных, калек; благословен будешь ты, так как им нечем отплатить тебе; но тебе отплатится при воскресении справедливых» (Лука XIV, 12—14).

Только в одном евангелии от Луки находим мы притчу о богатом и о бедняке Лазаре. В этой притче проведен резкий, беспощадный принцип. Бедный идет в царство небесное, богатый — в ад; как будто бы причиной торжества одного служит только факт его бедности, причиной гибели другого — его богатство. Бедность и богатство являются сами в виде моральных противоположностей (XVI, 19—31).

Какие выводы можно отсюда сделать? — Что ев. Лука склонен идеализировать бедность и строго относиться к богатству. Заметим, впрочем, что он не осуждает богатство само по себе, а только известное пользование им. В притче о богатом и Лазаре подчеркивается, что богач отдавался роскоши. Напротив, если богатый человек отдает много на благотворительность, он встречает полное одобрение автора. В гл. XIX, 1—9 рассказывается о том, что Иисус охотно зашел обедать к очень богатому мытарю Закхею, потому что тот был благочестив и заботился о бедных; и даже по этому поводу Иисус переносит упреки толпы в том, что он идет в дом к грешнику (т. е. ростовщику). Закхей так рекомендует самого себя: «я отдам половину имущества бедным, и если обману кого, вознаграждаю его вчетверо». На это Иисус отвечает: «ныне пришло спасенье дому сему, потому что и он — сын Авраама (а согласно притче о Лазаре лишь бедняк признается сыном Авраама), ибо сын человеческий пришел взыскать погибшее».

Отсюда видно, что демократизм ев. Луки — консервативный, патриархальный. никоим образом нельзя вывести заключение, что среда, для которой писалось это евангелие, простонародная, бедная. Нет, мы слышим только пуританскую проповедь, обращенную к богатым, при чем филантропам и благотворителям, в стиле современного нам американца Карнеджи, обещано полное блаженство.

Какую бы ни взять из книг Нового завета, видно, что они писались не для малограмотных простолюдинов, не для бедноты, а для людей образованных, с интересом к истории, с литературными требованиями, т. е. для слоев зажиточных.

Стоит обратить внимание на вступление к тому же евангелию от Луки (I, 1—4): «После того, как многие уже предпринимали дать последовательное описание совершившихся среди нас событий, и притом так, как передали нам их с самого начала непосредственные свидетели и слушатели слова,—и мне показалось уместным вслед за ними изложить все, как было сначала, чтобы ты, любезный Феофил, уверился в прочной истинности учения, которое тобою воспринято». — Надо сознаться, что так пишут предисловия только для кругов, в среде которых существует большая литературная требовательность.

Или вот отрывок из послания ап. Павла к римлянам (I, 18 и след.): «Раскрывается гнев божий, идущий с небес на всякого рода нечестие и несправедливость людей, которые правду держат в неправде. Ибо понятие о Боге осознано ими: Бог дал им это сознание. Невидимая его деятельность открывается в сознании творений, идущих от начала мира, а также вечная его мощь и божественность, так что им (непрозревшим) нет никаких оправданий. Потому что, зная Бога, они его не чтили и не благодарили, как Бога, но закружились в пустых словопрениях, и помрачилось неразумное сердце их». — Написавший эти слова явно имел склонность к нарочитой надуманности стиля, во всяком случае отнюдь не был из доступных популяризаторов и народных проповедников; он мог обращаться с подобными речами только к начитанным, философски образованным людям.

Конечно, уже одно это обстоятельство, наличие литературной подготовки, предполагаемой у читателей новозаветных книг, указывает на их зажиточность, материальную обеспеченность. Но у нас есть не только косвенные, а и более прямые данные в том же смысле.

Когда вы читаете апостольские послания, вас поражает, до какой степени часто встречаются слова «богатство, богатеть, получать выгоду, прибыль, выигрывать в изобилии, расширять свое дело, копить сокровища». Если непременно настаивать на том, что подобные слова применяются в переносном смысле, что богатеть разумеется «в милости божией», прибыль относится к духовным благам, то все-таки язык остается характерным и односторонне-выразительным. Притом в ряде мест апостол имеет в виду определенно материальное богатство. Напр., во 2 посл. к Коринфянам, IX, 9—11, после горячих воззваний к благотворительности, к помощи бедным общинам, апостол прибавляет и такой аргумент: «бог имеет мощь излить на вас всякую милость, чтобы во всем решительно и всюду вы пользовались полным изобилием на всякое доброе дело.

Как написано: распределил, роздал бедным, справедливость же ему воздана навеки. Тот, кто дарует семя сеятелю, даст ему и хлеб в пищу, и умножит семя ваше, и даст рост плодам справедливости вашей, чтобы вы были богаты во всех отношениях с простотой душевной, которая творит через нас благодарение богу.—Здесь хотя и рассеяно много благочестивых слов, но ясно, что дело идет о самом реальном обогащении, которое обещано филантропам.

Далее, очень характерно, что апостол постоянно предостерегает от впадения в жадность, скупость, любовь к деньгам, в гоньбу за прибылью. Из 1-го послания к Тимофею, VI, 10, можно заключить, что в христианских общинах иногда жестоко свирепствовала погоня за прибылью. Апостол говорит: «корень всех зол—сребролюбие, увлекаясь которым, многие отпали от веры и доставили себе много тягостей».—С подобными советами и увещаниями можно было обращаться только к богатым людям; бедным было бы смешно давать такие наставления.

Для социальной характеристики ранних христианских общин чрезвычайно выразительно одно место 1-го посл. к Коринф. (VI, 12). Апостол хочет указать на последнюю степень бедственности, до которой не дай бог дойти: он говорит о людях, которые должны добывать пропитание «ежедневной ручной работой». Наконец, не менее любопытно известное обращение апостола к рабам с требованием, чтобы они слушались господ, не мечтали о выходе из своего состояния, и увещание к господам, чтобы они в свою очередь хорошо обращались с рабами (посл. к Ефесян., VI, 5—9). Речь апостола ведь не что иное, как призыв к сохранению в неприкосновенности существующего социального порядка; она выражает глубокое сочувствие быту аристократическому, господству домов зажиточных, заключающих в себе много челяди.

Единственным произведением, которое выпадает, и довольно резко, из этого общего тона, является послание ап. Павла. В гл. II, 2—7, говорится: не должно быть никакого лицепрятия, никакого предпочтения богатым. Если в собрание придет богатч в шелку и бедняк в рубище, несправедливо давать одному почет, другого низко сажать. «Слушайте меня, любимые мои братья. Разве не выбрал Бог бедных на этой земле, которые богаты верой, являются наследниками царства, обещанного возлюбившим его? Вы же оскорбили бедного. Не богатые ли господствуют над вами, влекут вас в суды? Не они ли оскверняют славное имя, дарованное вам?»

В другом месте того же послания (V, 1—6) говорится: «каково вам, богачи? Плачьте, стенайте о беде, которая на вас

обрушится. Ваше богатство сгнило, ваши платья съедены молью; золото и серебро заржавело, и ржавчина будет вам знаменем и пожрет тело ваше, как огонь. Вы собирали сокровища в последние дни (перед концом мира?). Смотри, награда работникам, которые собирали жатву на земле вашей, удержанная вами, вопиет, и голос жнецов дошел до ушей господа Саваофа. Вы упитывали себя на земле, вы отдавались наслаждениям, вы тешили сердце в день убийства. Вы осудили справедливца и умертвили его, и он не сопротивлялся вам».

Принято считать, что послание ап. Иакова принадлежит общинам евкониотов, т. е. бедных сектантов. Каково бы ни было, однако, его происхождение, но оно вошло в состав канона, принятого богатыми. Все остальные произведения Нового завета держатся совсем иного тона. Зачем же взята в канон эта резкая отповедь имущему классу?—Можно предполагать, во-первых, цель воспитательную. Пусть богатые не отдаются гордости, пусть помнят о равенстве перед Богом. Но есть, кажется, и другое основание. Послание Иакова должно было застраховать имущие христианские круги от обвинений в исключительном аристократизме. Принцип понятен; уступкой спасти и охранить обладание остальным.

Впечатление такой же уступки производят известные выражения, рассеянные по всему Новому завету, которые можно было бы назвать социалистическими: таковы слова *κοινωνία κοινωνός, συνκοινωνός*, т. е. общинное, хорвое, соборное начало, общинник, сочлен общины. Особенно часто и охотно употребляет эти выражения ап. Павел. Он говорит об истинном братстве, истинной общинности, называет себя выразителем общинного начала.

Выражения подобного рода переносят нас в обстановку социальной борьбы, происходившей в конце эпохи античной культуры. Столкновение классов принимало иногда очень жестокие формы. В пользу неимущих, обездоленных были выставлены коммунистические теории, имелись горячие и талантливые проповедники социализма. Государство, высшие классы вели борьбу с восстаниями, поднимавшимися во имя раздела земли и отобрания капиталов. Так же, как в Новое время, существовали промежуточные, примирительные формы, были попытки государственного социализма, широкой социальной филантропии, было официальное кормление пролетариев. Рядом с этими практическими мерами имущие классы старались усвоить терминологию социализма на манер того, как Бисмарк воспользовался фразой: «государство не есть учреждение для одних имущих».

Социалистические выражения в книгах Нового завета объясняются именно примирительным направлением, которое усвоили руководящие, богатые слои, стоявшие во главе религиозных общин. Не следует обманываться относительно увлечения христианских кругов учениями коммунистов. Едва ли можно сказать, что социализм отвечал внутреннему характеру, интимному настроению большинства христиан. Присматриваясь к тексту евангелий и посланий, мы замечаем преобладание таких выражений, которые относятся к признанию частной собственности и даже к ее восхвалению. Говоря о приобретении прав на царство небесное, на милость Божию, апостол распространяется о наследственном праве, о законных наследниках, о накоплении сокровищ и т. п. Социализм Нового завета—благотворительный, аристократический. Лишь когда мы дадим себе в этом вполне ясный отчет, понятны будут крайне важные места Деяний, где говорится о коммуне, устроенной апостолами в Иерусалиме.

В гл. II, 44—45 сказано: все верующие (в Иерусалиме) составляли одно целое, и все у них было в общем пользовании; они продавали свои владения и имущества и разделяли их между всеми, смотря по надобности.

В гл. IV, 32, 34—37, то же самое изложено более подробно. «Масса верующих составляла одно сердце и одну душу. Никто из них не говорил о принадлежащем ему, как о своей собственности, но все у них было в общем владении.—И не было среди них нуждающихся; все же, кто владел домом или землей, продавали таковые и приносили суммы, полученные в уплату, и клали к ногам апостолов; а затем каждому давалось, смотря по надобности. Иосиф же, прозванный апостолами Варнава, что значит сын утешения, левит, родом с Кипра, продал принадлежащее ему поле, принес деньги и положил к ногам апостолов».

В гл. V, 1—11, рассказывается следующий ужасающий случай. Некто Анания вместе с женою Сапфирой продал свое имение, с ведома жены утаил размер полученной платы и только часть ее принес к ногам апостолов. Сказал ему Петр: «Анания, зачем Сатана завладел сердцем твоим, побудив тебя солгать Духу святому и утаить цену имений? Разве оно не осталось бы у тебя, если бы ты его сохранил и после продажи, разве (сумма) не осталась бы в твоей власти? Зачем положил ты на сердце свое такое дело? Ты солгал не людям, но богу». Услыхав такие речи, Анания упал и испустил дух. И напал страх великий на всех. Встали немедленно юноши, отнесли его в сторону и, выйдя наружу, похоронили. Часа три спустя входит Сапфира, которая не знала о случившемся, Петр

спрашивает: «Скажи мне, верно ли, что вы продали имение за эту цену?» Она отвечала: «да, именно за эту». Петр сказал ей: «Зачем вы стоворились искушать дух божий? Вот смотри, у дверей ноги тех, кто вынес на погребение твоего мужа, они и тебя вынесут». И Сапфиру постигает та же участь.

Так как это—единственное место в Новом завете, где говорится о хозяйственном и финансовом порядке христианской общины, то оно, разумеется, необычайно важно; но его следует хорошо понять.

Изображено некоторое тесное принудительное сообщество. Можно ли это назвать коммуной, и притом с пролетарским оттенком? Нет, ни в каком случае. Это не производительное товарищество, не рабочее содружество, не совместная мастерская. Это—коммуна потребителей. На первом месте стоят не бедняки, не нуждающиеся, а богатые, и даже они заполняют собою всю сцену. Мы видим два типа богачей: честного и нечестного в отношении коммуны.

Обратим внимание далее, для чего существует коммуна и что в ней более всего наблюдается. Члены коммуны не должны иметь домов и земельных угодий, они должны все обращать в деньги, а эти деньги отдаются апостолам, управителям общины. И вот эта передача апостолам всех наличных полностью, без утайки и есть главная цель усилий при устройстве общины. За сокрытие сумм, за нечестность в отношении управителей грозит величайшая кара; это—проступок против духа божий. В сравнении с этим важнейшим моментом—правильной отчетностью—все остальное отступает на задний план. Хотя и упоминается глухо о распределении средств так, что ни у кого из членов общины не было недостатка, но это как бы само собою разумеется и даже не ясно, апостолы ли сами занимаются распределением. О кормлении бедных в общине совсем нет речи. И Ананию вовсе не за то осуждает апостол, что он своей утайкой обидел немущих, а только за самое сокрытие. И еще делает характерное прибавление: ведь если бы ты хотел удержать свое имение или деньги, полученные за него, ты бы мог это сделать. Т.-е. апостол хочет сказать: ты обязан был так поступать не по моральным соображениям, а по уставу нашему, раз ты к нам вступил. Ты захотел быть членом нашего общества и только поэтому ты должен был подчиниться правилу об отчетности.

Если наш анализ был правилен, тогда ясно, что община, описанная в Деяниях,—вовсе не коммуна, как мы привыкли ее понимать. Она более всего похожа на общество взаимного страхования. Нравственной обязательности непременно вступать в такое общество не существует. Но раз оно устроено, в

нем наблюдается строжайшая дисциплина. Не поддержка бедных принята во внимание, а страхование капиталов, денежных сумм, и притом с целью их укрытия от какой-то большой посторонней силы.

В чем же здесь дело?—Необходимо вспомнить насилия империи, жадность римлян, бесконечный, всепроникающий деспотизм их бюрократии. Такое давление государства с неизбежностью должно было вызвать отпор, желание отбиться, защитить себя от официальных вымогательств. Так как кружки, союзы были вообще запрещены—допускались только погребальные товарищества,—то, естественно, людям, желавшим спасти свои имущества, оставалось одно: организоваться тайно. В тайной организации, как известно, с неизбежностью развивается очень жестокая дисциплина, вплоть до убийства тех, кто заподозревается в измене.

Невольно наше внимание в этом смысле привлекает одна страшная, жуткая деталь истории смерти Анании. Уличенный в утайке, он тут же на месте умирает. Совершается как будто чудо, но автор не настаивает на волшебстве, и мы без труда догадываемся, как реально произошла смерть. Рассказ делает очень определенные намеки. Тотчас же после осуждения, произнесенного апостолами, точно из-под земли вырастают «молодые люди», которые выносят мертвеца и немедленно его хоронят. Когда является ничего не подозревающая жена, апостол объявляет, что ее смерти уже ждут те, кто схватил тело ее мужа; и ей выхода нет, они стерегут ее у двери.

Таким образом сообщество, изображенное в Деяниях, производит суд и расправу над сочленами; приговор смерти исполняется на месте, и для этой цели есть особая стража из младших членов союза. Получается картина необычайно выразительная: против жестокой организации государства слагается тайная общественная организация, не уступающая первой в жестокости. Война, происходящая между двумя организациями, обостряет все чувства, напрягает подозрительность к сочленам до последней степени, переходит в ненависть к неверному или даже только ненадежному товарищу. Последний ресурс государственной власти, смертная казнь, переходит в число орудий, которыми пользуются тайные союзы и братства.

Мы уже знаем, что круги, которые читали евангелия, принадлежали к зажиточным, деловым, промышленным слоям общества. Разобранный эпизод из Деяний еще более подтверждает наши догадки и позволяет сделать еще один шаг дальше. У нас есть случай заглянуть в финансовую организацию союза: мы видим, что главная его цель—страхование

денежных капиталов. Это—союз богатых людей, притом не заинтересованных в недвижимости или старающихся перевести ее на деньги.

Для социального описания раннего христианства дает еще очень любопытные черты апокалипсис Иоанна.

В XVIII гл. мы находим картину гибели грешного Вавилона, т.-е. Рима. Весьма неожиданно Рим изображается не как военная или бюрократическая громада, а как *торговая сила*. «Купцы Вавилона были князьями мира» (ст. 24). Рим представлен в качестве великого рынка потребления. «Купцы мира будут плакать о его разрушении, потому что некому будет покупать их товары (11). Они нажились от разврата и роскоши вавилонской блудницы» (3). В ст. 12—15 подробно перечисляются товары, которые были в торговле: слитки золота и серебра, драгоценные камни, жемчуг, шелковые, парчевые, пурпурные материи, дорогое пахучее дерево, посуда из слоновой кости, а также вазы из ценного дерева, медные, железные, мраморные, всякие парфюмерии, мази, духи, курения; вино, масло, зерно и крупа, крупный и мелкий скот, лошади и экипажи. В ст. 17—19 говорится, что вместе с купцами будут плакать моряки, владельцы торговых судов, потому что они получали громадные выгоды от подвоза в столицу. Наконец, есть такая подробность (VI, 6): один из четырех жестоких зверей (повидимому, один из императоров) определяет налог на пшеницу и ячмень, но оставляет без обложения вино и масло.

Невольно думаешь, что те, для кого писаны эти картины мести, сами были торговцы, соперничавшие с римскими промышленниками или ими оттесненные. На апокалипсе можно сделать еще другое наблюдение, которое согласуется с только что изложенным. Читатели должны были особенно интересоваться ювелирными тонкостями и драгоценностями. Такое впечатление оставляет гл. XXI, где изображается новый Иерусалим. Свет от небесного града похож на блеск самого красивого камня, кристального яспида (11). Далее идет подробное описание светящихся камней и золота, из которых выложены стены города, при чем названы 12 пород драгоценных камней (18—20); ворота из жемчуга (21), улицы выложены золотом, чистым, как кристалл прозрачный.

Между прочим заметим, что едва ли можно считать эту картину чистой фантазией писателя. Он описывает какую-то реальную диковинку, которую видел в храме, в ризнице, быть может, что-нибудь из старых дворцовых чудес персидских царей. Ведь был же у них над престолом золотой платан; а у их преемников, багдадских халифов, был золотой слон с яхон-

товыми глазами и какие-то райские деревья с плодами из самоцветных камней. Но как бы ни понимать сверкающую модель Иерусалима, несомненно, что ее рисовал ювелир, обращаясь к ювелирам и любителям драгоценностей. Ювелиры же, имея дело с золотом в слитках, вещах и медалях, являясь, естественно, ссудчиками, ростовщиками, банкирами.

Ростовщичество в евангелии не встречает ни малейшего осуждения, напротив, отношение к нему в высшей степени благоприятное. Нечего и говорить о том, что Иисус охотно заходит к богатым мытарям, т. е. откупщикам, управлявшим сбором податей, сидит за их трапезой. Но вот есть притча со странной раздражающей моралью, притом рассказанная необыкновенно пространно и, так сказать, со вкусом. В гл. XXV, 14, еванг. от Матфея пришествие сына человеческого уподобляется приезду хозяина, принимающего отчет от слуг.

Призвал некто, собиравшийся в отъезд, своих слуг и роздал им свою движимость. Одному дал 5 талантов, другому два, третьему один, смотря по способностям каждого; и тотчас уехал. Тот, который получил пять талантов, положил их в дело и нажил прибыли новых пять талантов. И тот, который получил два таланта, наторговал еще два. Тот же, который получил один, разрыл землю и спрятал туда серебро своего господина.

Несколько времени спустя господин этих слуг возвращается и требует у них отчета. Подходит получивший пять талантов, выкладывает новых пять талантов и говорит: господин, ты мне дал пять талантов, а я вот наторговал еще пять. Господин ответил: благо тебе, добрый и верный раб, в малом ты был верен, поставлю тебя над многим; войди в радость господина твоего. (То же в тех же словах с рабом, получившим два таланта.) Подошел получивший один талант и сказал: господин, я знаю, ты—суровый человек, пожилаешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Я потому убоялся и спрятал твой талант в земле; получи свое (обратно). На это господин сказал: раб подлый и ленивый, ты знаешь, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Так ты должен был отдать мое серебро банкирам (трапезитам), а я, вернувшись, получил бы с него свой процент. Поэтому отнимите у него талант и дайте тому, у которого уже есть 10 талантов. Всякому, кто уже имеет, дастся и дастся в изобилии. А у того, у которого нет имущества, отнимется и то, что он имеет. Беспольного же слугу бросьте во тьму ночную, где плач и скрежет зубовый.

В этом отрывке все поразительно, начиная с обстоятельной самодовольной манеры изложения ростовщических операций и кончая возмутительной моралью, что у неимущего отнимаются последние крохи, а нажившийся и без того получает вдобавок отнятое у бедняка. Едва ли можно спасти нравственные привципы, изложенные в этой притче, ссылкой на то, что ее надо понимать в духовном смысле, что таланты и проценты здесь приведены только для метафоры. Но ведь подобные метафоры понятны и милы сердцу только ростовщика; всякому другому они режут ухо и не помогают уловить мысль проповедника. Наконец, нельзя не заметить, что, помимо оправдания неравенства, притча поражает еще своим прозаическим советом, в котором не видится никакой нужды: серебро не должно лежать втуне, его надо относить к трапезитам, класть в банк в качестве депозита и пользоваться с него процентами.

Не в одном только евангелии находим мы горячую рекомендацию банкиров и ростовщиков. У Евсевия, историка раннего христианства, есть следующее любопытное место («Ист. церкви», VII, 7). Ученый христианин собирается идти в школу к еретикам. Это опасно, но и полезно. Руководитель говорит ему: ты одарен критическим духом, ты должен научиться разбирать истину от заблуждения. Вспомни наставление апостольское, обращенное к влиятельным людям: *будьте хорошими трапезитами!*

Мы должны при этом заметить, что трапезиты были менялами, постоянно разбирались в монетах, умели отличать подвесную монету от плохой, настоящую от фальшивой. Если нам опять скажут так же, как по поводу притчи: вы видите здесь только сравнение, суть в характеристике интеллектуальной критики; мы ответим: да, но сравнение ясно только для специалиста, и мы в праве судить, из каких кругов оно вышло. Если кто говорит: «главное—будь хорошим плотником», мы невольно заключаем, что советник, занимается плотничьим ремеслом. Так и тут; если говорят: критикуй так, как ты умеешь разбираться в монетах, надо полагать, что беседа происходит в среде менял, банкиров, людей денежных. И раз так, не удивительно, что между папами римскими встречается банкир Калликст. Правда, мы не знаем профессии других пап, бывших до него но надо полагать, что это был вовсе не исключительный, а, напротив, вполне нормальный случай.

Так или иначе, но мы очень далеки от пролетарских общин, от простонародных организаций. Ранние христианские общины, поскольку они выступают перед нами в ли-

тературе, были организациями зажиточных людей, во главе которых стояла денежная, финансовая организация. Против самодержавной римской империи поднялась большая сплоченная сила, богатая средствами, со своими законами, своей верой, своим управлением. Судя по многочисленным социалистическим выражениям, рассеянным в книгах Нового завета, судя по тому, что большое место в организации было отдано филантропии, руководители были вынуждены сделать в пользу низов управляемого ими общества ряд уступок. Искусные, тактичные уступки не могли, однако, изменить общий социальный тон организации, и мы ясно читаем в книгах Нового завета бытовую физиономию общества, для которого эти книги были составлены.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Внимательный разбор книг Нового завета показывает, что христианские общины не были организациями пролетариев. Конечно, возможно, что там и сям возникали и бедные общины, но не они составили силу ранней церкви, не они создали литературу Нового завета, которая и есть самое оригинальное дело христианства.

Нет, руководителями церкви были круги зажиточных, образованных людей, сильных капиталом, взаимными связями, традициями прошлого. Их союзы не могли возникнуть внезапно, их начало не было малым горчичным зерном, из которого выросло большое древо; это—преувеличенно скромное литературное сравнение. Историк не может допустить, чтобы великое движение пошло от краткой деятельности одного лица, не может признать, чтобы основой церкви была маленькая иерусалимская община, состоявшая из личных свидетелей деятельности безвестно погибшего проповедника. Немыслимо, чтобы генисаретские рыбаки вдохновили авторов таких изумительных произведений искусства, как евангелия.

Литература, от которой остались лишь обрывки в виде книг, принятых в канон Нового завета, опирается на глубокие и сложные традиции старины, и это потому, что само общество, воспринявшее эти книги, было продолжением старинных могущественных организаций. Две страны, две нации дали материал для возрождающейся церкви: бесчисленные греческие сектантские общины вошли в соприкосновение и слились с провинциальными ветвями, с окраинами великой иудейской теократии, имевшей центр в Иерусалиме.

Можно сказать, что и церковь, и вера были готовы уже до возникновения христианства; в самом его появлении решающую роль сыграла катастрофа иудейской революции и ее неудачного конца. Произошел разгром церковного единства, совершилась гибель непосредственных ожиданий противоримской оппозиции. После ряда лет отчаяния и коле-

баний, которые выражались в апокалипсах, обрывки раздробленной церкви опять стали собираться; они усилились от прилива новых приверженцев. Этот прилив стал возможен потому, что чисто-иудейские, палестинские черты ослабели, стали выветриваться и в учении, и в устройстве общин. Усилилось направление религии духа. Спаситель из иудейского Мессии стал покровителем всех народов, всех трудящихся и обремененных. Вера сделалась общенародной, космополитической.

Как ни обрывочна дошедшая до нас литература, в ней сохранились следы работы мысли, вызванной катастрофой и перерождением церкви. Ее представители, во-первых, искусно установили мост между своей эпохой, с одной стороны, и между великой героической и страдальческой порой революции—с другой; они достигли этой цели тем, что объявили апокалипсы, писанные в революционную эпоху, своими книгами, и еще тем, что поместили своего героя в эпоху, предшествующую революции, и заставили его предсказывать катастрофу Иерусалима.

Во-вторых, новозаветная литература распространила образ учителя и проповедника, целителя и духовника людей, бесконечно доброго, проникательного, самоотверженного; его речи, его успокоительные и утешающие слова, его поучения располагаются в виде ритмически баюкающих стихов, и самый стиль, в котором изложено учение, гармонически сливается с прекрасной легендой о наставнике, странствующем по земле, полном заботы ко всем, вплоть до самых низжайших людей.

В-третьих, евангелия стараются соединить своего героя, Иисуса, с Мессией, с Христом. Они хотят сказать: у людей не только всегда есть защитник, есть высший ангел-хранитель, есть вечно живой друг; нет, помимо того еще, однажды была принесена жертва величайшая: искупитель пострадал за всех, за свой народ, за други свои. В качестве искупителя и выступил добрый, мягкий, прекрасный учитель. Когда он принял человеческий образ, когда замешался в толпу, когда изложил свое евангелие, свою благовест, его не поняли, не узнали, его выступлением возмутились, его загубили. Ослепленный народ предпочел Иисусу, называемому Христом, другого Иисуса, Варавву, разбойника и убийцу.

Из всех проблем, над которыми бились евангелисты, самая трудная состояла именно в отождествлении Иисуса и Христа, двух глубоко различных идеальных типов. Если читать евангелия внимательно и беспристрастно, если при этом поста-

раться забыть то, чему учил нас догмат, мы не можем не чувствовать громадной натяжки, которая заключена в этом отождествлении.

Чувствуют ее также очень ясно те, кто хочет Иисуса сделать обыкновенным смертным, деятелем, казненным в Иерусалиме, — те, кто старается воспользоваться евангелием, как историческим источником. При толковании подобного рода получаются неразрешимые загадки. Каким образом галилейский проповедник, столь любимый у себя дома, захотел пойти в чуждую ему среду Иерусалима? Отчего народ, который и там его сначала радостно встретил, так легко его покинул и ожесточился против него? Откуда у мягкого, беспечного галилеянина появился темперамент революционера, упорного фанатика мессианической идеи? Как случилось, что скромный, строгий к себе учитель, который не позволял себя назвать добрым, потому что один лишь бог может быть назван добрым, вдруг начинает себя считать сыном божьим, имеющим притти во славе, воплощенным по-славником небес?

Все эти загадки разрешаются, лучше сказать, они не могут и возникнуть, если на евангелия смотреть, как на отражение мыслей своего века: мы тогда читаем в литературном произведении верования времени, исследования и заключения авторов, попытки соединить вместе в один образ все черты, которые были дороги религиозным искателям.

В качестве общественного союза церковь становится также понятна из условий своего времени. Она родилась из оппозиции деспотическому, всепоглощающему самодержавию; она пыталась собрать в своей среде всех, кто спасался от давления беспощадного государства. Но, помимо того, церковь организовалась после эпохи жестокой социальной борьбы и под впечатлением ее тяжелых бурь. Искусные организаторы церкви тактично применили в деле общего устройства демократические и социалистические термины, сделали нужные уступки демократии, еще недавно бушевавшей.

Составляет ли раннее христианство общественный прогресс? На этот вопрос трудно ответить, тем более что общество во всякую эпоху добирается до какой-то единственно возможной для него при данных условиях организации. Зато без колебания можно сказать, что возникновение христианства происходило в эпоху культурного упадка и отразило на себе интеллектуальный уклон времени.

Передовые слои греческого, иудейского и римского общества эпохи около Р. Х. стояли на довольно высокой сту-

пени научного развития, а в религиозных вопросах проявляли немалый скептицизм, удовлетворяясь лишь такими построениями, которые не противоречили разуму. Характерно, что Цезарь позволял себе публично шутить над идеей человеческого бессмертия. Одно из воззрений, очень распространенных в широких кругах античного общества, состояло в том, что все боги, в том числе и высший,—не что иное, как создания человеческой фантазии, рассказы о них—преувеличенные сказки о старинных людях. В среде саддукеев, т.е. в зажиточных, образованных слоях иудейского общества, стоявших близко к храму, было принято относиться отрицательно к понятию загробной жизни. Исходя от идеи просвещенной политики, римское императорское правительство преследовало суеверия, изгоняло из столицы волшебников, знахарей и астрологов. Между тем мы видим, что в новозаветной литературе отдана немалая дань старинным верованиям, которые понемногу оживают и вторгаются в обиход. Евангелия передают множество случаев, когда больные излечивались приемами магии. Опять создается вера в загробный мир. Наконец, совершает свое вступление и самое странное из волшебных искусств древнего оккультизма—некромантия, воскрешение мертвых. И как раз самое позднее из евангелий, Иоанново, несмотря на свой философский подъем, берется пропагандировать учение и практику волшебников. Эта встреча в одном и том же литературном произведении тонко развитых богословских понятий и грубых суеверий особенно наглядно показывает, в какой мере быстро развивается упадок умственной жизни, насколько захвачены ранне-христианские круги разрушительным потоком, уносящим с собою создания античной культуры.

## ПРИЛОЖЕНИЯ.

### 1. „История церкви“ Евсевия, III, 39.

Считается пять книг Папия, озаглавленных «Объяснения слов Господних». О них, как единственных произведениях Папия, упоминает Иреней в таких словах: «все это записано у Папия, бывшего слушателем Иоанна и товарищем Поликарпа, человеком старого времени, в четвертой из его книг; всего же он составил их пять». Таково указание Иренея. Что же касается самого Папия, то, судя по предисловию к его сочинению, он не был никогда ни слушателем, ни очевидцем (деятельности) святых апостолов; но он воспринял сущность веры от людей, знакомых с последними, о чем передает в следующих словах: «Я не замедлю изложить тебе в объяснениях то, что хорошо усвоил от старейшего поколения и хорошо запомнил, прочно уверившись в истине изученного. Я увлекся, подобно многим, не теми, кто много говорит, но теми, кто говорит истину; и не теми, кто напоминает чужие предписания, а теми, кто (излагает) начала веры, внушенные Господом и исходящие от самой истины. Если же появлялся человек, бывший спутником старейших, я сопоставлял слова самих старейших: что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, или Фома, или Иаков, или Иоанн, или Матфей, или еще кто из учеников господних; или что говорят Аристион или пресвитер Иоанн. Я ведь старался извлечь пользу не столько из книг, сколько от живого вечного слова». Здесь нам необходимо принять во внимание, что он различает двух людей с именем Иоанна—одного более раннего, которого он причисляет к Петру, Иакову, Матфею и остальным апостолам, ясно отмечая таким образом евангелиста, и затем—другого Иоанна, которого он выделяет особо, помещая его в число другой группы, рядом с апостолами, ставя впереди него Аристиона и также отчетливо называя его Иоанном. Благодаря этому подтверждается пра-

вильность рассказа о том, что в Азии было два лица одного имени, что в Ефесе есть две могилы и по сих пор упоминаются два Иоанна. Необходимо принять это к сведению: ясно, что апокалипсис, носящий имя Иоанна, составляет откровение, виденное вторым из них, если только кто не захочет приписывать таковое первому.

И вот Папий, выяснившийся теперь перед нами, удостоверяет, что он усвоил слова апостолов от их спутников, Аристиона же и пресвитера Иоанна он самолично слышал. Он часто упоминает их имена, а в своих сочинениях излагает переданное ими учение. Мы говорим это не даром. Считаем также необходимым к вышеприведенным словам Папия присоединить еще другие его выражения, в которых он передает чудеса и иные вещи, усвоенные им из предания. Уже из предшествующего изложения выяснилось, что апостол Филипп проживал в Гиераполе со своими дочерьми; теперь должно отметить, что вслед за ними появился Папий, который упоминает о том, что усвоил объяснение чудес от дочерей Филиппа. Он рассказывает о воскресении мертвого, которое произошло при нем, и еще другое чудо передает он об Иусте, прозываемом Варсавва, а именно, что он выпил смертельный яд и что по благодати господней остался невредим. Этого Иуста после вознесения спасителя святые апостолы поставили кандидатом вместе с Матфеем, помолвившись над ними, чтобы заполнить число апостолов и заместить сан вместо предателя Иуды, как нам рассказывают Деяния апостолов: «и поставили двоих, Иосифа, называемого Варсаввою, который звался также Иустом, и Матфея; и помолвившись, сказали...».

И еще передает (Папий) многое, что перешло к нему из устного предания, странные притчи спасителя, и поучения его, и еще более баснословные сведения. Между прочим он говорит о тысячелетии, которое наступит после воскресения мертвых, представляя себе водворение на земле Христова царства в настоящем телесном виде. Я думаю, что он усвоил объяснения, исходившие от апостолов, но не понял таинственного смысла, заключенного в данных ими примерах. Насколько явствует из его же собственных слов, он был очень ограниченного ума. Тем не менее многим из представителей церкви, следовавшим за ним, он казался авторитетным в виду его принадлежности к старому поколению, как, напр., Иренею и всякому другому, кто держался тех же взглядов.

В своем сочинении он передает объяснения слов господних, принадлежащие вышеупомянутому Аристиону, и толко-

вагия пресвитера Иоанна. Отсылая к ним людей любознательных, мы по необходимости ограничимся, в присоединение к вышеупомянутым его мнениям, замечанием его об евангелисте Марке, изложенным в следующих словах: «Вот что говорит пресвитер: Марк был толмачом (секретарем) Петра: то что он запомнил, он записал тщательно, но не в том порядке, как это было сказано и совершено Христом. Сам он не слушал Господа и не следовал за ним, но, как я сказал, (присоединился) позднее к Петру, который сообразно необходимости излагал учения, вовсе не стараясь привести слова Господни в систему, так что Марк нигде не погрешил, записывая отдельные части, как он их запомнил: он заботился лишь об одном,—чтобы не пропустить ничего, что он слышал, и ни в чем не сделал ошибки». Вот что он рассказал Пашпо о Марке.

О Матфее же он говорит следующее: «Матфей составил на еврейском языке Логий (собрание речей), который каждый переводил, как мог». Сам он пользовался свидетельством первого послания Петра. Он излагает также другую историю, — о женщине, обвинявшейся во многих грехах в пору пребывания господина, о которой говорится в евангелии евреев. Мы считаем необходимым упомянуть об этом в добавление к вышеуказанному.

## 2. „Летопись“ Тацита, XV, 44.

(В главах 37—43 Тацит рассказывает о неслыханном развороте и мотовстве Нерона. После одного из роскошных и безобразных пиров, в которых участвовала знать и богатые люди, над Римом разразилось жестокое несчастье—именно громадный шестидневный пожар, от которого пострадали преимущественно бедные классы. Нерон старался дать пристанище погорельцам, но его ухаживание за народом не достигло цели, напротив, в Риме распространился слух, что император во время пожара воспевал гибель города стихами Гомера. Так же мало примирили с ним народ попытки возродить Рим в новом виде, более красивом и гигиеничном. Усиливаясь вернуть себе популярность в римском населении, Нерон ищет, на кого бы скинуть вину за великое бедствие. В этой связи рассказывается о христианах.)

44. Такие меры принимались по человеческому благоразумию. Затем искали средств к умилостивлению богов, и обратились для этого к Сивиллиным книгам, на основании ко-

торых устроили молебствие Вулкану, Церере и Прозерпине, а также посредством матрон была умоливляема Юнона, сначала на Капитолии, потом у ближайшего моря, где была почерпнута вода, которою был окроплен храм и статуя богини. Женщины, имевшие мужей, справили пир богиням и нощные бдения. Но ни человеческою помощью, ни щедротами государя, ни умоливлениями богов не устранился позорный слух, что пожар был делом приказания. Поэтому, чтобы уничтожить этот слух, Нерон подставил виновных и применил самые изысканные наказания к ненавистным за их мерзости людям, которых чернь называла христианами. *Виновник этого имени Христос был в правление Тиберия казнен прокуратором Понтием Пилатом*, и подавленное на время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где широко прилагаются к делу все гнусности и бесстыдства. Таким образом, были сначала схвачены те, которые себя признавали (христианами), затем, по их указанию, огромное множество других, и они были уличены не столько в преступлении, касающемся пожара, сколько в ненависти к человеческому роду. К казни их были присоединены издевательства: их покрывали шкурами диких зверей, чтобы они погибали от растерзания собаками, или пригвождали их ко кресту, или жгли на огне, а также, когда оканчивался день, их сжигали для ночного освещения. Нерон предложил для этого зрелища свой парк и давал игры в цирке, где он смешивался с простым народом в одеянии возницы или правил колесницей. Поэтому, хотя христиане и были люди виновные и заслужившие крайние наказания, к ним рождалось сожаление, так как они истреблялись не для общественной пользы, а ради жестокости одного человека.

Среди современных ученых есть такие, которые полагают, что вставкой у Тацита следует считать не только подчеркнутые слова, но и большую часть 44-й главы, поскольку в ней идет речь о христианах. Нам кажется, что нет нужды идти так далеко в сомнениях относительно подлинности текста. В эпоху Тацита могло быть известно выражение «христиане». Весь вопрос в том, кого разумел здесь автор. Допустимы два предположения:

1) что христианами здесь названы иудейские мессиянисты, ожидавшие выступления народного царя (по-гречески Христа) и подозрительные римским властям в качестве революцио-

неров. В пользу такого объяснения говорит ссылка Тацита, что родиной этого зла является Иудея.

2) Если предположить, что вместо christianos стояло christianos (что возможно, так как слово взято с греческого, а в то время греческое долгое «э» выговаривалось как «и»), то надо искать связи названия секты с Chrestus. Кто такое Chrestus? Таково было прозвание египетского бога Сараниса, chrestiani назывались его последователи. Если принять во внимание, что многие чужие культы вызывали презрение у римлян и что особенно склонными к разврату считались египетские секты, то становится понятна Тацитова характеристика христиан, как людей, «ненавистных за их мерзости». Chrestus, однако, могло иметь отношение и к иудеям. У Светония в биографии Клавдия (гл. 25) говорится: «(император) выгнал из Рима иудеев, которые волновались по наущению Христа».

В подлинности всего рассказа Тацита (за исключением двух строк о смерти Христа при Тиберии) нет основания сомневаться, потому что о христианах римский писатель говорит резко и в тоне обычного отношения к Востоку. Зачем бы стал христианский интерполатор вставлять упоминание о «мерзостях» христиан? Нам кажется, однако, что christiani, о которых упоминает Тацит, не имели никакого отношения к позднейшим участникам христианской церкви. Слово christiani долго служило официальным, полицейским термином, который применялся враждебной стороной, но не самими сектантами. Повидимому, позднейшие христиане сознавали, что упомянутые у Тацита одноименные с ними жертвы Нерона чужды им по существу. Но так как они жадно искали в античной литературе малейшего упоминания о подвижниках своего дела, то и решили, что у Тацита в данном месте речь идет о каких-то предшественниках. Желание оправдать это историческое заключение привело именно к тому, что была сделана вставка, объясняющая имя христиан от Христа (или скорее замена каких-то опущенных слов данными).

### 3. „Иудейские древности“ Иосифа Флавия, кн. XVIII, гл. III.

1. Пилат, начальник Иудеи, передвинул войско из Цезареи на зимовку в Иерусалим и вместе с тем, в нарушение иудейских обычаев, задумал ввести в город изображения цезарей, вделанные в знамена, между тем как закон нам запрещает применение образов. Вследствие этого прежние

начальники допускали вступление в город лишь таких знамен, которые были лишены этого украшения. Пилат же первый, пренебрегая людскими понятиями, под покровом ночной тьмы внес в Иерусалим знамена с лицевыми изображениями. Когда узнали об этом (иудеи), большая толпа направилась к Цезарю с мольбой, и люди стояли в течение долгих дней, прося об удалении образов. Так как он не уступал, считая, что иначе будет нанесено оскорбление Цезарю, а толпа, в свою очередь, упорствовала и не расходилась, он на шестой день расставил незаметно вооруженных солдат, а сам вошел на трибуну, устроенную среди бегового круга, где была скрыта засада. Когда иудеи опять подняли свои жалобы, он окружил их по данному сигналу солдатами и грозил немедленно перерезать всех, если они не перестанут шуметь и не разойдутся по домам. В ответ они стремглав бросились на землю и обнажили шею, заявляя, что с радостью примут смерть лучше, чем допускать нарушение своих законов. Пилат, пораженный их твердостью в соблюдении обычаев, тотчас распорядился перенести образа из Иерусалима в Цезарею.

2. Он собирался также провести в Иерусалиме водопровод на средства, взятые из храмовых денег, при чем хотел начать от источника стадиях в 200 от города. Им, однако, не понравилась работа над водопроводом; сошлось несколько десятков тысяч людей и стали громко требовать, чтобы он прекратил это предприятие, а некоторые осыпали его бранью, как это любит делать толпа. А он окружил их большим числом солдат, одетых в длинное платье местного покроя и скрывавших под ним дубины, расставил их так, чтобы нагрянуть со всех сторон, и приказал народу расходиться. Когда толпа опять надвинулась с ругательствами, он дал солдатам условный знак. Они же разъярились и начали расправляться гораздо резче, чем приказал им Пилат, нападая без разбору на тех, кто шумел, и на совершенно безвинных, так что из безоружной массы, захваченной людьми, приготовившимися к нападению, многие оказались убитыми, многие получили увечья. Так окончился этот мятеж.

3. В это время выступил Иисус, человек глубокой мудрости, если только правильно называть его человеком. Совершитель чудесных дел, он был учителем людей, воспринимавших с радостью истину, и многих, как иудеев, так и греков, он привлек на свою сторону. Он был Христом. Когда по доносу первенствовавших у нас людей Пилат распял его на кресте, не поколебались те, кто впервые его возлю-

били. На третий день он снова явился к ним живой, о чем, равно как и о тысяче других чудесных дел, предсказали божественные пророки. И сейчас еще существует род христиан, получивших от него свое имя.

4. В эту же пору еще другое страшное дело взволновало иудеев, и вместе с тем в храме Изиды, что в Риме, произошли дела позора несмываемого. Сначала я расскажу о дерзости, совершенной в связи с культом Изиды, а потом перейду к событиям, касающимся иудеев. В Риме жила некто Паулина, выдававшаяся своим знатным происхождением, а также личными качествами, которыми она вполне оправдывала свое имя, очень богатая и очень красивая, при чем в возрасте, в котором женщины по преимуществу увлекаются; ее мысли были направлены на жизнь разумную и умеренную. Она вышла замуж за Сатурнина, из всех людей равного звания наиболее ее достойного. В нее влюбился Деций Мунд, один из богатейших всадников того времени. Стараясь взять ее подарками и надавая все больше и больше, но встречая полное пренебрежение, он, наконец, обещал 200.000 аттических драхм за одну ночь. Когда она не отозвалась и на это предложение, он не смог перенести любовную неудачу и решил уморить себя голодом, чтобы прекратить свои душевные страдания. Он бы и исполнил свое намерение, если бы не Ида, вольноотпущенная отца Мунда, мастирица разных темных дел, вовсе не желавшая допустить смерть юноши, тем более его бесславную гибель. Придя к Децию, она возбудила в нем надежды и обещала добиться для него свидания с Паулиной. Он принял ее предложение с радостью, а она сказала, что ей нужно пятьдесят тысяч для уловления этой женщины. Такими речами она совершенно воскресила юношу, взяла у него спрошенную сумму, но не стала действовать прежними путями подношения подарков, так как видно было, что на Паулину не действуют деньги. Заметивши, что Паулина усердно посещает богослужение Изиды, она принялась за следующий план. Вступила она в разговоры со жрецами и, взявши с них клятву, что все сохранится в тайне, выдала им немедленно 25.000, а другую половину обещала дать после удачного выполнения; затем она объяснила горячую страсть юноши и просила настойчиво доставить ему случай ее удовлетворения. Слепленные множеством золота, они согласились; старший из жрецов пошел к Паулине и, добившись входа к ней, стал настаивать на разговоре с ней наедине. В секретной беседе он ей сообщил, что прислан богом Ануписом, который побежден любовью к ней и желает ее видеть. Она почувствовала

себя очень польщенной, похвалилась перед своими подругами честью, которую ей оказывает Анубис, и заявила мужу, что ей предстоит ужин и ложе вместе с Анубисом, на что он согласился, уверенный в ее целомудрии. Она отправилась в храм, поужинала там, а когда наступило время ложиться спать, жрец запер двери и затушил огни внутри храма; тут и появился Мунд, скрывавшийся в храме, осыпал ее своими ласками и провел с нею всю ночь, при чем она оставалась в убеждении, что с нею бог. Когда он ушел прежде, чем проснулись жрецы, участвовавшие в разговоре, Паулина утром вернулась к мужу и рассказала ему о явлении Анубиса, а также похвалилась о том же перед своими приятельницами. Они же, с одной стороны, ей не верили, разбирая дело по существу, с другой—не решались отвергнуть ее признание в виду ее несомненной целомудренности. На третий день после этого события Мунд, повстречавшись с Паулиной, сказал: «Ты сберегла мне 200.000, которые могла бы присоединить к своему имуществу, и все-таки я удовлетворил своему страстному желанию. Меня не огорчает то, что я отвергнут под именем Мунда; за то я получил полное наслаждение под именем Анубиса». С этими словами он пошел дальше, а она лишь теперь поняла совершенный над нею дерзкий обман; разорвав на себе одежду, она открыла мужу весь позор совершившегося и стала требовать отмщения. Тогда он донес о происшествии императору. Тиберий, по строгом расследовании дела, велел распять на кресте жрецов, замешанных в это дело, а также Иду, виновницу всего возмутительного замысла. Затем приказал разрушить храм и бросить идол Изиды в реку Тибр. Мунда же наказал ссылкой, считая, что за свой проступок он не заслуживает большего наказания, так как причиной его является страсть. Таков конец храма Изиды, вызванный преступлениями жрецов. Я перехожу теперь к судьбам, испытанным в то время иудеями в Риме, как и предполагал это сделать.

5. Был здесь иудей, бежавший с родины по обвинению в нарушении законов и в страхе наказания, человек негодный во всех отношениях. Устроив себе знакомства в Риме, он стал выдавать себя за толкователя Моисеева закона. В сообществе еще с тремя подобными себе людьми он убедил одну из знатнейших римлянок, Фувльвию, принявшую Моисеев закон, чтобы она послала в иерусалимский храм золото и пурпурную ткань. Получив в свои руки эти дары, они растратили их на свои нужды, для чего в сущности и выманили у нее. Тиберий узнал об этом от преданного ему Сатурнина, мужа Фувльвии, которая пожаловалась ему, и

велел изгнать из Рима всех иудеев. Консулы забрали из них 4 тысячи на военную службу и отослали на остров Сардинию; большинство же подвергли наказанию, так как, следуя своим национальным обычаям, они не хотели нести военную повинность. Таким образом из-за подлости четырех человек пострадали все иудеи, бывшие в Риме.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Предисловие . . . . .	3
I. „Жизнь Иисуса“ . . . . .	5
II. Римское самодержавие и церковная жизнь Востока . . . . .	26
III. Первые шаги христианской литературы . . . . .	43
IV. Общественный строй раннего христианства . . . . .	60
Заключение . . . . .	74
Приложения: 1. „История церкви“ Евсевия, III, 39 . . . . .	78
2. Летописи Тацита, XV, 44. . . . .	80
3. „Иудейские древности“ Иосифа Флавия, кн. XVIII, гл. III. . . . .	82

---

#### IV. Трудовая школа.

Иорданский, Массовая трудовая школа . . . . .	ц. — р.	20 к.
Шаррельман, Трудовая школа (печатается).		
Допл. Трудовые процессы в нач. образовании. . . . .	—	50 "
Григорьевский, В помощь учителю трудовой школы. . . . .	—	50 "
Щаций, Этапы новой школы (печатается).		
Дьюн, Школа и общество 2-ое изд. . . . .	—	20 "
" Школы будущего (распродано) . . . . .	—	60 "

#### V. Профессиональная литература.

Аплетин, Этапы и формы просвещенск. союзн. движения. . . . .	—	30 "
Устав Союза работников просвещения . . . . .	—	5 "
Цветков, Просвещение и просвещенцы . . . . .	—	20 "
Отчет Ц. К. Год работы . . . . .	—	60 "

#### VI. Учебники.

Поляков, Солнышко, букварь. . . . .	—	25 "
Зелькина и Зельцер, Книга для чтения и бесед в школах для взрослых. . . . .	—	40 "

#### VII. Искусство.

Невский, Современная живопись . . . . .	—	20 "
Сабанеев, Дебюсси. . . . .	—	25 "
" Скрябин . . . . .	—	25 "
" Музыка речи (печатается)		
Тарабукин, От мольберта к машине (печатается).		
Мир искусств в образах поэзии. Собр. Е. Боричевский . . . . .	1	50 "

#### VIII. Наука и публицистика.

Луначарский, Против идеализма (этюды полемические)—печатается.		
Виппер, История Западной Европы в средние века. . . . .	1	60 "
Виппер, Возникновение христианства . . . . .	—	" "
Леман, Теория относительности. . . . .	—	20 "
Смушков, Очерки эконом. политики (печатается).		

#### IX. Справочники.

Нипарисов, Библиотека современного читателя . . . . .	—	25 "
---	---	------

#### X. Журналы.

„Работник Просвещения“ . . . . .	—	25 "
----------------------------------	---	------

Книжный склад „Работник Просвещения“ выполняет заказы на всю имеющуюся в продаже литературу. Снабжает учебниками губоно, уоно, работники, школы, библиотеки и все просветительные учреждения.

**ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СКИДКА.**

**Заказы выполняются в кратчайший срок.**

При издательстве образован специальный отдел комплектования библиотек по одобренному Ц. К. Союза работников просвещения каталогу „Библиотека современного читателя“. Каталог всем учреждениям высылается бесплатно.

Все заказы и денежные переводы направлять по адресу:

Москва, Леонтьевский пер., 4, издательству „Работник Просвещения“.